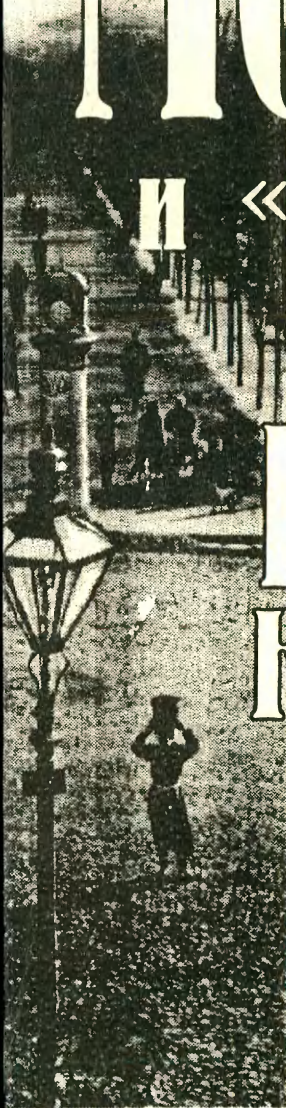


МОСКВА

и «МОСКОВСКИЙ
ТЕКСТ»

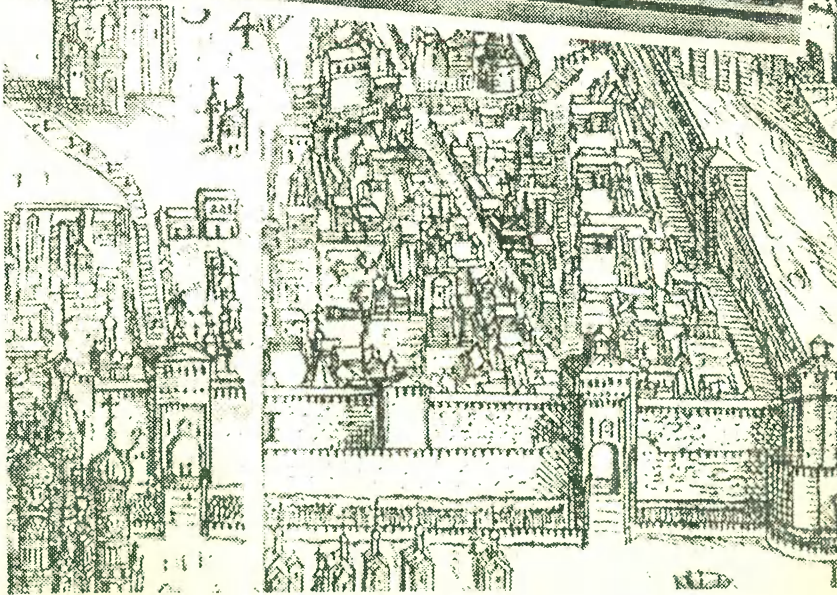
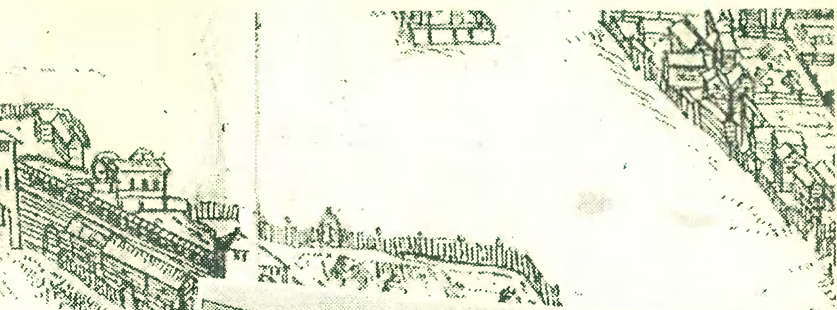
русской
культуры



Мариамович







МОСКВА
И
МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сборник статей

Москва 1998

ББК 63.0
М 82

Ответственный редактор *Г.С. Кнабе*

1

ISBN 5-7281-0052-X

© Коллектив авторов, 1998
© Российский государственный
гуманитарный университет, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

М.П. Одесский

Москва — град святого Петра.

Столичный миф в русской литературе
XIV–XVII вв.

9

Д.П. Бак

“Теория искусства” и “самое искусство”

(Московская журналистика 1830-х годов
и университетская наука)

26

Ю.В. Манн

Москва в творческом сознании Гоголя

(Штрихи к теме)

63

Б.В. Межуев

Владимир Соловьев и Москва.

“Крепчайшими цепями прикован я
к московским берегам...”

82

И.С. Веселова

Логика московской путаницы

(на материале московской “несказочной” прозы
конца XVIII – начала XX в.)

98

Т. Фрумкин

Кантата П.И. Чайковского “Москва”.

(Не)случайный текст в (не)случайном контексте

119

Г.С. Кнабе

Арбатская цивилизация и арбатский миф

137

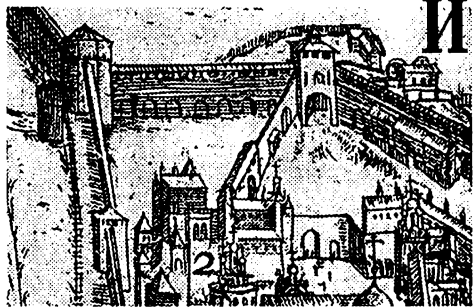
Ю.Г. Вешинский

Социокультурная топография Москвы: от
1970-х к 1990-м

198

Москва — град святого Петра

Столичный миф в русской литературе XIV–XVII вв.



Изучая миф и/или текст Москвы, исследователи привычно тяготеют к материалам, относящимся к петербургскому (или постпетербургскому) периоду русской истории. Это вполне объяснимо. «Петербург *vice versa* Москва — слишком бросающаяся, эффектная, “остроумная” (в барочном смысле) формулировка проблемы и, по сути дела, достаточно тривиальная смысловая конструкция, чтобы не стать объектом определенной моды, предметом попыток разыграть заложенную в ней идею до конца, до предела, с дополнительным акцентированием, с готовностью идти на преувеличения и упрощения»¹.

“Остроумная” формулировка “Москва/Петербург” может — парадоксально — оказаться полезной и применительно к допетербургской фазе бытования “московского текста”.

Петербург, опровергая Москву, тем самым необходимо воспринимался “как новая Москва (новый “царствующий град”, как его было повелено официально именовать

вать)»². Различительное противопоставление предполагало сходство. Миф новой столицы наследовал мифу прежней. Порой — в неожиданных частностях.

Петербург основан Петром I, на что указывает имя города, хотя, как известно, указывает опосредованно. Петербург связан с именем царя-основателя через имя царева патронима — св. Петра, первоверховного апостола. Поскольку же “Петр” по-гречески значит “камень”, постольку камень приобрел характер отличительного атрибута новой столицы. Суммируя различные наблюдения, Б.А. Успенский констатирует, что «ассоциация Петра и камня реализуется в противопоставлении *деревянной Руси и каменного Петербурга*. Это противопоставление поддерживалось строжайшим запрещением возводить каменные здания где бы то ни было в России, помимо Петербурга: в 1714 г. Петр запретил в государстве “всякое каменное строение, какого бы имени ни было, под разорением всего имения и ссылкой”. Тем самым фактически создается не только образ Петербурга как каменной столицы, но и образ деревянной России как ее антипод»³.

Казалось бы, формулировка “*столица—св. Петр—камень*” в русских условиях уникальна и вне специфических обстоятельств Петербурга непредставима. Однако как раз Москва выступает в древнерусской литературе каменным городом, за который предстательствует св. Петр. Правда, не апостол, а митрополит Киевский и всея Руси (ум. 1327). Тот самый, который перенес митрополию из Владимира в Москву.

* * *

Город уже наделен постоянным эпитетом “каменный” и заступником Петром Митрополитом в текстах конца XIV—XV вв. “эпохи Андрея Рублева и Епифания Премудрого”, эпохи Куликовской битвы и московской славы.

Вот в “Сказании о Мамаевом побоище” перед походом великий князь молится в Успенском соборе у гробницы Петра: “Ныне убо на мя оплчнися супостати погании и на град твой Москву крепко вооружаются. <...> И тебе ныне подобает о нас, грешных, молитися, да не приидет на нас рука смертнаа и рука грешнича да не погубить нас. Ты бо еси стражь нашъ крепкий от супротивных нападений, яко твоа есмы паствина”; вот

войска выступают – “...не соколи вылетели ис каменна града Москвы, то выехали русскыя удалци съ своимъ государемъ, с великимъ княземъ Дмитреемъ Ивановичем”; а вот, соответственно, Дмитрий Донской в ночь перед Куликовской битвой призывает к “тврѣдому и необоримому заступнику нашему и молебнику иже о насъ, к тебе, русскому святителю, новому чудотворцу Петру, на его же милость надеемся”⁴.

Может показаться, что “камень” и “Петр” соседствуют совершенно случайно и что “каменная” доминанта “славного града Москва” правдоподобно объяснима просто как горделивая социокультурная реакция на кремлевские стены, воздвигнутые при Дмитрии Донском, которые значительно улучшили фортификационные качества города.

Но неизвестный автор “Повести о нашествии Тохтамыша” как раз наставительно рассказывает, что в 1382 г. татары – несмотря на стены – ворвались в город. В самом начале “Повести” князь Олег Рязанский, спешествуя Тохтамышу в анти-московских замыслах, “некаяя словеса изнесе о томъ, како пленити землю Рускую, како бес труда взяти камень град Москву, како победити и издобыти князя Дмитриа”⁵. Пока Тохтамыш с Олегом строили коварные планы “беструдного” взятия каменной крепости, нечестивые москвичи вместо покаяния и молитвы буянили и пьянствовали, полагаясь на неприступность укреплений: “Не устрашаемся нахоженна поганых татар, селикъ твердъ град имущи, еже суть стены камены и врата железна”⁶. За что и были наказаны. В финале “Повести” изображается московское запустение, где вместо “цивилизованного” камня воцарились изначальная пустыня и “дикая” земля. “И бяше дотолѣ, преже видети, была Москва град великъ, град чюдень, градъ многочеловечень, в нем же множество людей, в нем же множество господства, в нем же множество всякого узорочья. И паки въ единомъ часе изменися видение его, егда взят бысть, и посечень, и пожжень. И видети его нечего, разве токмо земля, и персть, и прах, и пепел, и трунна мертвых много лежаща, и святаѣ церкви стояще акы разорены, акы осиротевши, акы овдовевши”⁷.

“Тверд и необорим” небесный заступник Петр, а не кремлевские стены. Эпитет “каменный” чреват конфликтом. “Каменное”, с одной стороны, подразумевает городские стены, олицетворяющие гибельную надежду москвичей на творение рук своих, на самих себя, с другой же – неземную крепость заступничества св.Петра.

Это противопоставление выражено в “Повести о Темир Аксак”, как бы полемически соотнесенной с “Повестью о нашествии Тохтамыша”. Изначально там возникает ситуация, напоминающая катастрофу 1382 г. На Москву в 1395 г. ополчился новый враг, опасней прежнего, ведь Темир Аксак, Тамерлан, уже успел одолеть московского разорителя Тохтамыша. Великий князь Василий Дмитриевич принимает разумные оборонительные меры. “Такоже повеле князь наместникомъ своимъ и властельмъ, и воеводамъ градскимъ укрепити осаду и собрати воя вся. Они же, слышавъ повеление господина своего, собраша люди и весь град, и укрепisha осаду”⁸. Но прежде всего великий князь с митрополитом Киприаном позаботились о защите небесной. Они доставили из Владимира чудотворную Богородичную икону, и чудо произошло – Тамерлан отступил от московских пределов. Автор “Повести” не забывает и митрополита Петра. “Не мы бо их гонихом, но Богъ прогони ихъ невидимою силою своею и причистыя Его матери, скорыя заступницы наша в бедахъ, и молитвою угодника Его, боголюбивого пресвятого заступника граду нашему Москве и молебника граду нашему Москве находящия на ны беды; посла по нихъ страхъ и трепеть, да окаменеются”⁹. Метафорический глагол “окаменеть” прямо-таки понуждает предположить знание книжником прямого смысла имени “Петр”.

Неудивительно, что участник событий XIV–XV вв. митрополит Киприан написал “Житие митрополита Петра”. В середине XVI в. “Житие” было включено в “Степенную книгу”¹⁰, один из монументальных проектов эпохи Ивана Грозного, в которых Московское царство описывало себя.

Киприан повествует, как митрополит Петр “прииде во славный градъ, зовомый Москва, еще тогда малу сущу ему и немногонародну, а не якоже ныне видимъ есть нами”. При мысли о величественных переменах, случившихся за истекшие сто лет, у агнографа как будто дух захватывает. И превратилась Москва из города “малого и немногонародного” в “славный” – благодаря митрополиту Петру, который дал князю Ивану Даниловичу Калите пророческий совет: “Аще мене, сыну, послушаеши и храмъ Пречистыя Богородицы воздвижеша во своем граде, и самъ прославишися паче иныхъ князей и сынове и внуцы твои въ роды и роды. И градъ прославленъ будетъ во всех градахъ Рускихъ, и святители поживутъ въ немъ, и възидуть руки его на

плеща врагъ его, и прославится Богъ въ немъ; еще же и мои кости в немъ положени будутъ”¹¹. Залогом, знаком будущего величия стало строительство первой московской каменной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы, где впоследствии были положены мощи святителя: “...тебе предстателя Руськая земля стяжа, славный же градъ Москва честныя твоя мощи, яко же некое сокровище честно соблюдаетъ”¹².

Имя Москвы явно охватывает государство/город/храм в их недифференцированном, “безраздельном” (по выражению С.К. Шамбинаго¹³) единстве. И — соответственно — камень горнего заступничества не только противопоставлен дольной “каменности” кремлевских стен, но и манифестирован в каменном же кремлевском Успенском соборе.

* * *

Московский миф столицы в текстах XIV–XVI вв. выражен имплицитно. По причине как упомянутого “безраздельного” представления о Москве–храме/городе/государстве, так и (подобно другим мифам древнерусской культуры) принципиального отказа от уникальности, принципиальной установки на традиционность, повторяемость, аналогию. Москва — великий город в той мере, в какой она — новый Владимир (ср. воспроизведение имени центрального владимирского Успенского храма и наследование владимирской иконы), новый Иерусалим (ср. Соломоновы аналогии¹⁴), Рим или Константинополь (ср. пресловутую концепцию конца XV–XVI вв. “Москва — третий Рим”).

Зато в XVII в. — как результат кардинального изменения типа социума, формирования нового, “предимперского” сознания, “моды на генеалогические и баснословные упражнения на историческую тему”¹⁵ — наступило наконец время «жанра исторической “предвестии”, рассказа о начале традиции (с элементами этнологической легенды <...>), создаваемого в тот период, когда впервые появляется потребность в уяснении своих “исторических” (конкретно — пространство-временных и персонажных) корней”¹⁶.

Другими словами, наступило время мифа столичного города как такового, интереса к определенной пространственно-временной точке, что и выразилось в “повестях о начале Москвы”.

Этот цикл, приблизительно датируемый серединой и/или второй половиной XVII в., — бесспорно, основной древнерусский источник, прямо, эксплицитно запечатлевший московский столичный миф¹⁷.

“Поистине же сей град именуется третий Рим, понеже и над сим бысть в зачале то же знамение, яко же над первым и вторым; аще и различно суть, но едино кровопролитие”¹⁸. Размышления, которыми открывается одна из повестей “московского цикла”, построены как силлогизм. Если Москва — третий Рим, если первый и второй Рим стоят “на-крови”, то и Москва должна возникнуть “не бес крове же”. Или: раз Москва стоит “на-крови”, значит она — великий город, развернутым доказательством чего оказывается повесть. Привычные, знакомые элементы московского мифа переосмыслены на новый — рассудочный, официально-предимперский — лад.

В “повестях о начале Москвы” перипетии основания столицы так же, как в текстах XIV–XVI вв., венчаются пришествием в город Петра Митрополита и его пророчеством, восходящим (возможно, через другие источники) к “Степенной книге”¹⁹. “Яко по Божию благоволению будет град сей царствующим, велми распространится, и устроится в нем дом всемогущия и живоначальная святая Троицы и Пречистая его матере Пресвятая Богородицы, и церквей Божиих буде множество, и наречется сей град второй Иерусалим, и многим державством обладатель, не токмо всею Росиею, но и всеми странами прославится, восточною и южною и северною, и пообладает многими ордами до теплого моря и от студеного окияна, и вознесется рука высока Богом дарованная отныне и до скончания миру”²⁰.

Однако — на фоне “Степенной книги” — заметно, что представление будущего Москвы реализуется при помощи “предимперских” клише пространства/времени — “до теплого моря и от студеного окияна”, “отныне и до скончания миру”. Это уже та мифология столицы, которая прямо предвещает имперскую мифологию “новой Москвы”, нового града святого Петра — Санкт-Петербурга.

В предложенной перспективе основание Петербурга оказывается — условно говоря — очередной (спустя полвека после “московских повестей”) попыткой реализации столичного мифа нового типа. Уже не на бумаге, а в камне. И привычное обра-

ние к освоенной формуле “столица – св. Петр – камень” более чем предсказуемо.

И “ономастическая” подмена официального патронима – первоверховного апостола – представима, ведь культ митрополита Петра также находился в поле пропагандистского внимания царя-реформатора. В 1690 г. на территории московского Высоко-Петровского монастыря, обновленного иждивением семейства Нарышкиных, был (при личном присутствии юного царя) освящен храм Петра Митрополита²¹. А в 1705 г. архиепископ Черниговский Иоанн Максимович использовал этот образ в панегирической части своего “Алфавита”: “Святителя Христова Петра пророческие слова (Ивану Калите при закладке Успенского собора. – М.О.) восприимут совершение в тезоименитом своем благочестивейшем нашем царю Петру...”²².

Так что, не подвергая сомнению очевидную связь Петербурга с “каменным” апостолом Петром (и олицетворяемым этим святым католическим Римом – своего рода символом Запада вообще), необходимо учитывать и ориентацию на “каменного” же Петра Митрополита (и, значит, отечественную традицию), который при Петре I нередко выступал заместителем царева патронима-апостола в функции “панегирического двойника”.

* * *

Перемещая столицу, царь-реформатор, таким образом, воспроизводил традиционный для древнерусской культуры столичный миф. Атрибуты, ранее приписываемые Москве, переадресовывались Петербургу. Это – с одной стороны. С другой стороны, востребованы были лишь некоторые атрибуты столичного мифа. Что-то заимствовали, от чего-то отказывались. В столичном мифе петербургской поры отсутствует, например, важнейший для “повестей о начале Москвы” мотив “строительной жертвы”.

“Московские повести” (в отвлечении от различий, существующих между редакциями) сообщают, что при “начале” великого города произошло (как минимум) двойное убийство: боярина Кучки, первого хозяина территории, “иде же ныне царствующий град Москва, оба полы Москвы-реки”²³, и воцарившегося на этой территории государя (согласно одной редакции – князя Андрея Юрьевича Боголюбского, согласно другой – князя Даниила Александровича Суздальского).

“Строительная жертва” является составляющим компонентом “значительного” мифа многих городов в различных культурных традициях. Занимательно, что в московской версии “строительная жертва” сопряжена с “развитием любовного элемента”²⁴. В заговоре на жизнь князя участвует его неверная жена (во всех редакциях именуемая Улитой). Причем сосуществование формул “столица–св.Петр–камень” и “столица–любовная строительная жертва–грядущее величие” характеризует не только “повести о начале Москвы”, но и другие тексты, представляющие столичный миф древнерусской литературы. Так, в особой летописной традиции²⁵, связанной со “Степенной книгой” и предшествовавшей “московским повестям”, обе формулы функционируют в качестве элементов единого целого. Одна из летописей, исследованная С.К. Шамбинаго, включает как сообщение о “строительном” убийстве князя, так и рассказы о пророчестве митрополита Петра, закладке Успенского собора, а венчается известием под 1367 г. о возведении Дмитрием Донским кремлевских стен²⁶.

В “московских повестях” “любовный элемент” как бы переосмыслен на новый — рассудочный, официально-“предимперский” — манер. Мотив “строительной жертвы” причудливо вписывается в древнерусскую историософию, входя в контекст концепции конца XV — начала XVI в. “Москва — третий Рим”: “Поистинне же сей град именуется третий Рим, понеже и над сим бысть в зачале то же знамение, яко же над первым и вторым; аще и различно суть, но едино кровопролитие”²⁷. Это размышление, которым открывается одна из повестей “московского цикла”, построено как силлогизм. Если Москва — третий Рим, если первый и второй Рим (Константинополь) стоят “на-крови”, то и Москва должна возникнуть “не бес крове же”. Или: раз Москва стоит “на-крови”, значит она — великий город, развернутым доказательством чего и оказывается повесть.

Но несмотря на “предимперскую” интерпретацию, мотив “строительной жертвы” (насколько известно) в Петербурге явно не пригодился. Иными словами, формула “столица–св.Петр–камень”, сохранив столичный статус, поменяла конкретно топографическую приуроченность. Формула же “столица–любовная строительная жертва–грядущее величие”, сохранив топографическую приуроченность, поменяла статус и, соответственно, содержание. Пафос государственного величия

утрачивается, а бывший “любовный элемент” реализуется в рамках частной, интимной ситуации. Как итог трансформации – в ряде авторитетных литературных текстов XVIII – начала XIX в. манифестировался “нестоличный” московский миф, который можно обозначить формулой “Москва – место гибели / разлуки с возлюбленной”.

Отдельного разговора заслуживает то обстоятельство, что в отличие от “московских повестей” здесь терпит “ущерб” не герой, а героиня. Это преобразование можно предположительно объяснить, учитывая хорошо известный факт близости “московских повестей” к фольклору.

Спасаясь от заговорщиков, князь Даниил Александрович, чья смерть в повести служит “началу” Москвы, неудачно пытался переправиться через “околомосковскую” реку Оку, а ведь с рекой Москвой в народных преданиях ассоциировалась гибельная река Смородина, непременно “место гибели героя или героини”²⁸. В фольклорных песнях, как и в “повести о начале Москвы”, прослеживается сюжет, варианты которого охватываются формулой “*московская река/река Смородина – причина/место гибели – героя/героини*”. Знаменитый историк И.Е. Забелин, в частности, писал: “Другое, собственно эпическое, имя Москвы-реки – Смородина – сохранилось в былинах и песнях. В одной из былин сказывается, как:

Князь Роман жену терял;
Жену терял, он тело терзал,
Тело терзал, в реку бросал,
Во ту ли реку во Смородину...

В былинной же песне о бесприютном и злосчастном добром молодце река Смородина прямо называется Москвою-рекою и описываются подробности ее местоположения и права: молодец похулил ее и за то потонул в ней”²⁹.

Соответственно, в генетическом плане замена попавшего в беду персонажа мужского пола на персонаж женского пола правдоподобно толкуется как воздействие фольклорного фона, где изначально функционировали то герой, то героиня. В плане же “художественном” эта замена, видимо, вызвана “не-столичной” установкой на “приватность”, интимность.

Как бы то ни было, в XVIII в. и позднее “московски-любовный” миф, определяемый формулой “Москва – место гибели

ли/разлуки с возлюбленной", неоднократно привлекал внимание литераторов. В рамках этого мифа, например, по-новому выглядит такое "общее место" русской классицистической (и сентименталистской) лирики, как разлука с возлюбленной, которую оставляют в Москве.

В 1755 г. дань "*московски-любовному*" мифу отдал мэтр классицизма А.П. Сумароков, напечатав стихотворение "Москве":

Град русских городов, владычица, прехвальна
Великолепием, богатством, широтой!
Я башен злато зрю, но злато предо мной
Дешевле, нежель то, чем мысль моя печальна.
Мной зришься ты еще в своем прекрасном цвете;
В тебе оставил я, что мне милей всего,
Кто мне любезнее и сердца моего,
В тебе осталася прекраснейшая в свете.
Избранные места России главных чад,
Достойно я хвалю тебя, великий град,
Тебе примера нет в премногом сем народе!
Но хвален больше ты еще причиной сей,
Что ты жилище, град возлюбленной моей,
В которой все то есть, что лучшее в природе³⁰.

Любопытно, что первая публикация сонета в составе подборки стихотворений Сумарокова на страницах журнала "Ежемесячные сочинения" сопровождалась авторской ремаркой: "Павла Флеминга, знатного немецкого стихотворца, который был в Москве в 1634 и в 1636 годах при Голштинском посольстве, три сонета, по-русски переведенные. Сонет 3, когда, отправляясь в Персию, по выезде из Москвы увидел издалика ея башни"³¹. Но Пауль Флеминг (1609—1640) в соответствующем сонете оплакивает (вполне правдиво с биографической точки зрения) не разлуку с возлюбленной, оставленной в русской столице, а ее отсутствие в Москве. То есть русский переводчик, заимствуя тему, форму, достаточно точно передавая отдельные фрагменты, вместе с тем совершенно изменил общую ситуацию, согласовав ее с новым московским мифом.

Ср. далее строки из "Станса" виртуоза словесной игры А.А. Ржевского (1761):

Прости, Москва, о град, в котором я родился,
В котором в юности я жил и возростал,

В котором живучи, я много веселился
И где я в первый раз любви подвластен стал.
Любви подвластен стал, и стал лишен покою,

В тебе, в тебе узнал, что прямо есть любить,
А ныне принужден расстаться я с тобою.
Злой рок мне осудил в пустынях жизнь влачить.

Или — пространное стихотворение “К Москве” (1794)
А.В. Аргамакова, племянника Д.И. Фонвизина:

Позлащенными главами
Досязая горних стран,
Удовольствия дарами
Утешай своих граждан!
Щедрую для них рукою
Рассыпай цветы отрад;
Но среди торжеств, покою
Обрати ко мне твой взгляд!
Я прощаюсь с тобою,
О Москва, любезный град!
Мне тебя оставить должно...
Против воли то моей.
Я оставлю; но как можно,
Возвращусь к тебе скорей,
Возвращусь — опять увижу
Те прелестные места,
Где еще, еще приближу
Ко устам драгой уста...³²

Перечень примеров соблазнительно увенчать цитатой из “Записок одного молодого человека” (1840–1841) — ранней повести А.И. Герцена, для поэтики которого вообще характерна постоянная “игра” с культурными символами: “Я пристально смотрел на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московский берег отодвигался далее и далее; глубь, вода, пространство, препятствия меня отделяя более и более... А тот берег — чуждый, неприязненный — из темно-синей полосы превращался в поля, деревни становились ближе и ближе... На московском берегу у меня все: впалые щеки старца, по которым недавно катилась слеза... и другие слезы... О, Боже!...”³³ Несложно интерпретировать “другие слезы” в биографическом плане как прозрачный намек на кузину Н.А. Захарьину, будущую жену писателя, но

здесь столь же правомерно подозревать реплику “любовой” традиции московского мифа.

Если в стихотворном виде ситуация *“Москва — место гибели/разлуки с возлюбленной”* в определенной мере маргинальна, то ее преломлению в прозе русская литература обязана такими значимыми повестями, как *“Бедная Лиза”* (1792) Н.М. Карамзина и *“Марьиная роща”* (1809; с подзаголовком — “старинное преданье”) В.А. Жуковского.

Обе повести явно реализуют один миф, хотя их сюжет разветвляется существенно по-разному. У Карамзина действие происходит в “наши дни”, у Жуковского — до “начала” Москвы, у Карамзина девушка совершает самоубийство, у Жуковского — ее убивают, у Карамзина московская водная стихия представлена прудом у Симонова монастыря, у Жуковского — “московской рекой” Яузой, на берегах которой умирает Марья.

Тем не менее фундаментальное сходство повестей очевидно, как очевидна и “единая линия развития”, прочерченная от “повестей о начале Москвы” до «беллетризованных “исторических повестей” второй половины XVIII в., а также более поздних (включая соответствующие “чисто” художественные тексты Карамзина и раннего Жуковского)», на что указывал В.Н. Топоров³⁴. Столь же, впрочем, ясно, что при сохранении “единой линии” в позднейших повестях разрабатывается не “московски-столичный”, а иной, “не-столичный”, “московски-любовный”, миф.

* * *

Объявляя столицей новый город, Петр I отнюдь не повел дело к окончательному лишению Москвы столичного статуса, как это может показаться на первый взгляд. Более того, он сам и задал “остроумную” ситуацию двух столиц, характерную для позднейшей русской культуры.

15 ноября 1723 г. был издан Манифест “О короновании Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны”, фиксировавший особое значение Москвы в императорский период русской истории. Необходимость демонстративного “коронования” Екатерины, уже более десяти лет являвшейся законной женой царя, вначале доказывается в Манифесте ссылками на авторитетные образцы: “Понеже всем ведомо есть, что во всех Христианских

Государствах непременно обычай есть Потентатам супруг своих короновати...”. Приведя перечень византийских (т.е. традиционных) прецедентов, составитель Манифеста затем переходит к следующей группе аргументов, подразумевающей петровскую идеологему персональных заслуг (ср.: “Табель о рангах” или знаменитую воинскую службу Петра с последовательным получением чинов и орденов): “И понеже не неведомо есть, что в прошедшей двадцатинедолголетней войне <...> Наша Любезнейшая Супруга, Государыня Императрица Екатерина Великою помощницею была”. И вывод “Того ради данную нам от Бога самовластную за такие супруги Нашея труды коронацию Короны почтить, еже Богу изволившу, нынешния зимы в Москве имеет совершенно быть”³⁵.

Закон этот замечательно иллюстрирует специфические особенности петровского “контекста”. Привычные на Руси византийские образцы контаминированы с идеей персональных (почти воинских) заслуг Екатерины I, а новизна коронования жены императора умеряется традиционностью места. Торжество должно состояться в Москве. Подразумевалось – в привычном Успенском храме, усыпальнице Петра Митрополита (что незамедлительно и произошло в мае 1724 г.).

Таким образом, Петр I решая по обыкновению вполне конкретные политические задачи, инициировал новую разновидность столичного мифа. В Санкт-Петербурге укоренился перво-степенный миф каменного града “первоверховного” апостола Петра, но и Москва не осталась в накладе. Храм митрополита Петра стал отныне локусом “*коронационного*” мифа. Императоры из династии Романовых, по-“земному”, светски вступая на престол в Петербурге, должны были подкрепить свои права по-“небесному” – коронацией в кремлевском храме Успения Богородицы. Возникла интереснейшая “московская” традиция хвалебных од, триумфальных торжеств, официально дозволенных карнавалов и народных гуляний.

Коронационная ситуация подразумевала дары, прощения и прочие благодеяния, расточаемые монархом. Отталкиваясь от этого, А.И. Герцен в “Былом и думах” представил, так сказать, образчик “коронационного” антимифа. “Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, – писал он о декабристах в III главе I части мемуаров, – коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, го-

ворил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха”.

В VI главе Герцен приводит еще одну сходную историю. Здесь фигурировали уже не “громкие” декабристы, а мало кому известные сестры Пассек, вознамерившиеся просить государя за некогда опального отца: «В это время Николай праздновал коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную залу, везде огни, щиты, наряды... Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращения имени. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут “венчанного и превознесенного царя”. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую»³⁶.

* * *

Итак, в XIV–XVI вв. на Московской Руси оформился столичный миф, получивший окончательное завершение в цикле “повестей о начале Москвы” XVII в. Смысл этого мифа передается условными формулами *“столица – св.Петр – камень”* и *“столица – любовная строительная жертва – грядущее величие”*. По мере возникновения в начале XVIII в. “остроумной” ситуации двух столиц Санкт-Петербург начинает осознаваться как новый каменный град нового св. Петра, первоверховного апостола, и как символ государственного величия. Миф же Москвы отныне конструируется как миф *коронационного города* с локализацией в Успенском соборе – традиционном храме прежнего св. Петра и как лишенный былого государственного масштаба миф города *погибшей/оставленной возлюбленной*.

Именно в таких пределах московский миф развивается на протяжении XVIII и первой половины XIX в., постепенно обогащаясь новыми мифами – типа *“университетского”*, *“фамусовского”*, *“1812 года”* и др. Эти разнообразные культурные мифы (“субмифы”?), возникающие при всякого рода исторических констелляциях, тем не менее допустимо представлять как элементы единого целого, пусть уступающего в отчетливости пе-

тербургскому мифу. Исследователя ожидают здесь сюрпризы, порождаемые “странными сближениями”.

...В финале знаменитого фельетонного романа И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев” искателей сокровищ эпохи нэпа постигает закономерная катастрофа: “великий комбинатор” Остап Бендер лежит с перерезанным горлом, отец Федор Востриков и Ипполит Воробьянинов сходят с ума, чаемые же ими бриллианты обращаются в современное московское здание клуба железнодорожников. Для романа, изданного в 1928 г., все как следует — ход истории необратим, возвращение в дореволюционное прошлое непредставимо, игнорировать, обходить правила нового государства невозможно³⁷. Но вдруг — в аспекте “единой линии развития” московского мифа — открывается иная, уходящая в глубь веков перспектива. Оказывается, что персонажи невольно пожертвовали имуществом, физическим и душевным здоровьем на благо строящейся столицы могущественного социалистического государства. Советский роман оборачивается неожиданным выражением московской формулы — “столица — строительная жертва — государственное величие”.

П р и м е ч а н и я

- ¹ Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 274.
- ² Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 131.
- ³ Там же. С. 136.
- ⁴ Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981. С. 148, 150, 166.
- ⁵ Там же. С. 190, 192.
- ⁶ Там же. С. 194.
- ⁷ Там же. С. 202.
- ⁸ Там же. С. 236.
- ⁹ Там же. С. 238.
- ¹⁰ Васенко П.Г. “Книга Степенная царского родословия” и ее значение в древнерусской исторической письменности. СПб., 1904. С. 227.
- ¹¹ Книга Степенная царского родословия // Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1. С. 237—328.
- ¹² Там же. С. 332. Ср. наблюдение И.Е. Забелина о том, что Едигей, вслед за Тохтамышем в 1408 г. осаждавший Москву, неожиданно отступил от города 20 декабря — на память преставления Петра Митрополита (Забелин И.Е. История города Москвы. М., 1990. С. 101). Надо сказать, что “Степенная книга”

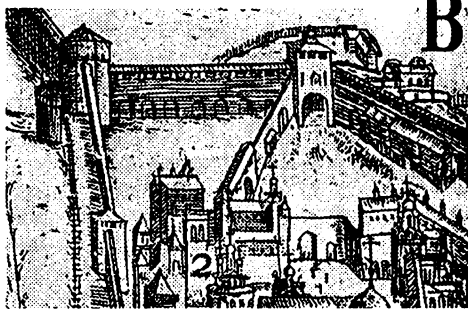
- вообще довольно внимательна к обстоятельствам “начала” Москвы. Здесь, в частности, сообщается, что Юрий Долгорукий “в богоспасаемомъ граде Москве господствуя, обновляя въ немъ первоначальственное скипетродержание благочестивого царствия, иде же ныне благородное ихъ семя царское преславно царствуетъ” (Книга Стенная царского родословия. С. 191).
- 13 Шамбинаго С.К. Повести о начале Москвы / Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Л., 1936. Т. 3. С. 77–78.
 - 14 Ср.: «...Борис Годунов задумал воздвигнуть в Кремле грандиозный храм и назвать его “Святая святых” по примеру храма царя Соломона <...> Характерным образом Иван Тимофеев усматривает в этом стремление принизить значение московского Успенского собора: “Первое ... и верховнейшее дело его: основание во уме своем положи и промчеся всюду, еже о здании святая святых храма сего весь подиг бе; яко же во Иерусалиме, во царствии си хтяше устроити, подражая мняся по всему Соломону самому, яве, яко унижав толик древняго здания святителя Петра храм Успения Божия матере”» (Успенский Б.А. Указ. соч. С. 99–100). См. также: Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1966. Vol. 4: Slavic Epic Studies. P. 274–276, 534–539.
 - 15 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 69.
 - 16 Топоров В.Н. О следах энической стихотворной традиции в старорусских повестях о начале Москвы // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 223.
 - 17 См.: Шамбинаго С.К. Указ. соч.; Повести о начале Москвы / Изд. и подгот. текстов М.А. Салмина. М.; Л., 1964.
 - 18 Повести о начале Москвы. С. 173–174. “Римская” тема присутствует и в других повестях “московского цикла”. В наиболее “сказочной” с исторической точки зрения князь-основатель — по происхождению “носле Рюрика, короля римского въ 14 колене”, а встречает он на месте Москвы пустыльника Подона, римлянина (!) Цит. по: Памятники литературы древней Руси: XVII век. М., 1988. кн. 1. С. 121–122.
 - 19 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 91.
 - 20 Повесть о начале царствующего града Москвы Русская бытовая повесть XV–XVII вв. М., 1991. С. 210.
 - 21 См. подробнее: Одесский М.П. Художественная семантика панегирических имен собственных в театре эпохи Петра I Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992, Сб. 4: XVII–начало XVIII в. С. 370–397.
 - 22 Панегирическая литература петровского времени. М., 1979. С. 56–57.
 - 23 Повести о начале Москвы. С. 175–176. Далее в цитируемой повести уточняется, что на месте владений боярина Кучки князь построил “древян град”. Автор, очевидно, не просто констатирует факт, называя строительный материал, но оценивает это с точки зрения грядущего “каменного” величия, из XVIII в —

времени написания текста. Можно даже предположить, что с подразумеваемой в повести оппозицией “деревянной” Москвы “начала” / “каменной” Москвы XVII в. соотносима петровская оппозиция “деревянной” России (Москвы) / “каменного” Петербурга.

- 24 История русской литературы. М., 1948. Т. 2. Ч. 2. С. 245.
- 25 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 77; Тихомиров М.Н. Сказания о начале Москвы // Исторические записки. М., 1950. Т. 32. С. 236; Повести о начале Москвы. Гл. II.
- 26 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 77.
- 27 Повести о начале Москвы. С. 173–174.
- 28 Путилов Б.Н. Песня “Добрый молодец и река Смородина” и “Повесть о Горе-Злочасти” // Труды отдела древнерусской литературы АН СССР. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 232.
- 29 Забелин И.Е. Указ. соч. С. 58. Ср. также симптоматические замечания В.К. Тредиаковского в “Рассуждении о первоначалии Россов” (1757): “Имя Смородины Москве реке есть не древнее, но новое: ибо древнее Словенское имя сему плоду есть Чресмина; да и прозвана сия река Смородиною от простаков, увидевших, что она истекает из-под кустиков черныя, как уверяют многии самовидцы, Смородины, не подалеку от Можайска. По сему, хоть и поустить ему сие имя (ибо и я слышал от самых простых людей, что называется она Смородина, а на письме от искусных и достоверных мужей нигде того не видел); однако, поустится оно ему так, что Москва река, по имени, есть Смородина по прозвищу, данному ей после от простолюдинов...” (Цит. по: Jakobson R. Op. cit. P. 623).
- 30 Русская литература — век XVIII: Лирика. М., 1990. С. 117.
- 31 Там же. С. 663.
- 32 Фрагменты стихотворений А.А. Ржевского и А.В. Аргамакова цит. по.: Там же. С. 164, 537.
- 33 Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 1. С. 286.
- 34 Топоров В.Н. “Бедная Лиза” Карамзина: Опыт прочтения М., 1995. С. 102–103. “Единая линия развития”, связывающая “московский цикл” и литературу XVIII–начала XIX в., выражается также в интересе к “повестям о начале Москвы” авторов исторических сочинений В.Н. Татищева, А.П. Сумарокова, Н.М. Карамзина и др.
- 35 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 7. С. 161–162.
- 36 Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 61, 139.
- 37 См. подробнее: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Легенда о великом комбинаторе: История создания, текстология и поэтика романа “Двенадцать стульев” // Очерки довоенной литературы: Литературное обозрение. 1966. № 5, 6. С. 196–197.

“Теория искусства” и “самое искусство”

(Московская журналистика 1830-х
годов и университетская наука)



В истории московской журналистики первых десятилетий XIX в. принято отмечать два этапных момента. Первый — “холерный” 1830 год: “Журналы все умерли, как будто от какого-нибудь апоплексического удара или действительно от холеры-морбус”¹. Белинский в 1834 г. лишь воспроизвел в “Литературных мечтаниях” суждение Н.А. Полевого из статьи, опубликованной в первом номере “Московского телеграфа” за 1831 г.: «В самом деле, что за мор, что за холера охватила их! “Вестник Европы” г-на Каченовского, “Исторический журнал” г-на [А.М.] Гаврилова, “Московский вестник” г-на Погодина, “Галатея” г-на Ранча², “Атеней” г-на [М.Г.] Павлова, “Магазин” г-на Двигубского, “Отеч. записки” г-на Свинына — кончились вместе с 1830-м годом!”³. Важно подчеркнуть, что, кроме “Отечественных записок”, все упомянутые Полевым журналы издавались в Москве.

Второй момент — середина 1830-х годов, когда было прекращено издание двух популярнейших московских журналов. В

1834 г. перестал выходить “Московский телеграф” братьев Полевых, а в 1836 — надеждинский “Телескоп”⁴; таким образом, 1834—1836 годы — окончание расцвета московской журналистики и литературной критики. В дальнейшем на протяжении целого десятилетия в Москве одновременно издавалось *не более одного* заметного литературного журнала (имеются в виду два последовательных издательских проекта М.П. Погодина: в 1835—1839 гг. “Московский наблюдатель” и в 1814—1856 гг. “Москвитянин”). Лишь в 1856 г. в Москве вновь одновременно стали выходить два литературно-художественных журнала: “Русский вестник” М.П. Каткова, которому была суждена долгая жизнь, и сравнительно недолговечная “Русская беседа” А.И. Кошелева и Т.И. Филиппова (1856—1860).

На протяжении 1834—1856 гг. говорить о “внутримосковской” журнальной полемике весьма затруднительно⁵, в это время на первый план все более выдвигается прежде находившаяся на периферии читательского внимания полемика “московской” и “петербургской” прессы. Поэтому для обстоятельного анализа расстановки сил в московской критике мы обратимся прежде всего к событиям рубежа 1820—1830-х годов.

Практически все издатели и редакторы московских журналов того времени имели непосредственное отношение к Московскому университету. Вернемся к перечню “умерших” в 1830 г. журналов, который привел в своей аналитической статье Н. Полевой. Издателями “Вестника Европы” (“Журнал литературы, критики, наук и художеств”) с 1802 по 1815 г. числились три тогдашних арендатора типографии при Московском университете, затем журнал официально перешел под эгиду университета. Известный профессор-историк М.Т. Каченовский с незначительными перерывами редактировал журнал с 1805 по 1830 г.⁶

Другое университетское издание — “Исторический, статистический и географический журнал, или Современная история света” — в течение без малого четырех десятилетий под разными названиями издавал предшественник Н.И. Надеждина по университетской кафедре профессор М.Г. Гаврилов, а после смерти последнего в 1829 г. — его сын, адъюнкт А.М. Гаврилов, годом позже соперничавший с Надеждиным за кафедру теории изящных искусств и археологии.

“Московский вестник” издавал и редактировал тогда еще адъюнкт М.П. Погодин, при ближайшем участии своего все-

гдашнего единомышленника и делового партнера С.П. Шевырева, позже “ординарного профессора русской словесности и педагогики”; издателем “Галатен” (“Журнал литературы, новостей и мод”) был С.Е. Ранч, магистр-словесник, преподаватель университетского Благородного пансиона; “Атеней” (“Журнал наук, искусств и изящной словесности”) издавал профессор М.Г. Павлов, преподававший физику, технологию, сельское хозяйство.

Наконец, издателем выходившего в 1820—1830 гг. “Нового Магазина естественной истории, физики, химии и сведений экономических” был профессор И.А. Двигубский, физик, ботаник и физиолог, в 1826—1833 гг. — ректор университета. В дополнение к “перечню Полевого” можно было бы упомянуть о выходившем в те же годы “Русском зрителе” (“Журнал истории, археологии, словесности и сравнительных костюмов”, 1828—1830), соиздатели которого — поэт Д.П. Ознобишин и археограф К.Ф. Калайдович — также были близки к университетским сообществам литераторов и ученых. Оба — питомцы Благородного пансиона, Калайдович в 1810 г. окончил словесное отделение со степенью кандидата и позже некоторое время преподавал в пансионе и в университете. Кроме “Телеграфа”, 1830 год в Москве удалось пережить основанному в 1828 г. и после “холерной” паузы просуществовавшему еще два года “Вестнику естественных наук и медицины”. Издателем журнала был доктор медицины А.А. Иовский, читавший в университете курсы по химии и фармакологии.

Как видим, журнальная деятельность на рубеже 1820—1830-х годов привлекала выпускников и сотрудников университета всех рангов; среди издателей и редакторов — кандидаты и магистры, адъюнкты и профессора и даже ректор. Столь же широк и диапазон профессиональных научных занятий университетских журналистов: словесность и эстетика, история и археология, экономика и медицина, география и агрономия. Московская журналистика этого времени тяготеет, таким образом, к наукам и научности, складывается особый тип “массового” научно-просветительского периодического издания, в котором изящная словесность соседствует с серьезными академическими статьями и популярными изложениями научных теорий ведущих ученых. Значительное место при этом отводится переводам-компиляциям иностранных трудов в области естественных и, по тогдашнему, нравственно-политических наук. В пространных подзаголовках

московских журналов обозначены самые разнообразные отрасли знаний, нередко достаточно парадоксально соседствующие с указаниями на “литературность” издания (“Журнал наук, искусств и изящной словесности”, “Журнал истории, археологии, словесности и сравнительных костюмов” и т.д.).

Сближение московской журналистики с университетской наукой происходило не спонтанно, но во многом было обусловлено стратегией Министерства народного просвещения. Московский университет и существовавший при нем пансион были специально ориентированы на развитие в своих питомцах творческих навыков. Еще “в 1819 г. Московскому университетскому благородному пансиону дарован был новый устав. <...> Устав санкционировал литературные занятия воспитанников”⁷. В нем прямо говорилось, что “для большего образования ума и вкуса воспитанники каждую неделю имеют собрание, состоящее из отличнейших пансионеров: в собрании читаются речи о предметах ученых и нравственных, воспитанники разбирают собственные сочинения, пишут разборы лучших отечественных сочинений, стихотворных и прозаических, по правилам критики (! — Д.Б.) отдают друг другу отчет в еженедельном чтении своем, предлагают сомнения на чтение и вопросы на суждение и решение и занимаются произнесением стихов и прозы”⁸.

Журналистику с университетской наукой сближала также их общая ведомственная подчиненность Министерству народного просвещения — так было вплоть до принятия нового закона о печати 1865 г., когда цензура была передана в ведение Министерства внутренних дел. Сфера компетенции Московского учебного округа (головным учреждением которого и был университет) на протяжении десятилетий структурно совпадала с областью деятельности Московского цензурного комитета. Поэтому попечитель округа (равно как и ректор и университетские профессора) был непосредственно причастен не только к организации учебного процесса в университете, но и к цензурованию периодических изданий⁹.

Начало 30-х годов — время расцвета Московского университета¹⁰, когда читали лекции М.Т. Каченовский и М.П. Погодин, Н.И. Надеждин и С.П. Шевырев, М.Г. Павлов и И.М. Снегирев. Не все из названных преподавателей уделяли пристальное внимание современным литературным событиям, однако в контексте нашей темы важно другое: университетские

кафедры занимали *те же* лица, которые одновременно являлись своим слушателям и в качестве авторов журнальных статей, участников печатной полемики. Так происходило реальное сближение в сознании студентов образов университетского профессора и журналиста, критика.

В связи с назначением на пост министра народного просвещения С.С. Уварова (1833) и разработкой под его руководством нового (принятого в 1835 г.) университетского устава в самом способе преподавания основных университетских дисциплин произошли примечательные перемены. С.П. Шевырев подчеркивает, что с утверждением устава появились "новые отличительные черты в распределении предметов преподавания по факультетам, заключающиеся в том, что все профессора принадлежат предметам, ими избранным и основательно изученным. Мы не встречаем здесь того непрерывного колебания ученых между разными науками, которое поражало нас нередко во всей предыдущей истории преподавания. Науки теряют уже вовсе энциклопедический характер: каждая требует себе всего человека, изучается исторически по источникам"¹¹.

Специализированное, основанное на источниках изучение каждым профессором своего предмета во многих случаях делало невозможным чтение курсов на старый манер — по заранее известным (обычно иностранным) учебным руководствам. Оригинальные научные подходы и концепции складывались непосредственно в ходе преподавания, а значит — интенсивно формировались влиятельные университетские научные школы во многих областях знания. Вместе с тем далеко не во всех случаях студенты своевременно получали в свое распоряжение новые учебные пособия взамен традиционных иноязычных. Такое положение дел, свойственное именно переломной эпохе первой половины 1830-х годов, способствовало выработке у студентов, вынужденных составлять "журналы" лекций, своеобразных навыков грамотной письменной речи. Обычно "журналы" составлялись поочередно всеми студентами курса, затем каждый из них свой "журнал" переписывал на белом и подвергал текст литературной обработке, поскольку он предназначался не только для личного употребления, но читался накануне экзамена всеми конкурентами¹². По словам И.А. Гончарова, "о литографированных лекциях и помню не было. <...> Мы должны были записывать изустную речь профессора, и этот трудный процесс при-

носил нам массу добра. <...> Легко понять, как такая умственная гимнастика должна была изощрять соображение, развязывать ум и перо!”¹³

Особенно характерны в этом смысле курсы Н.И. Надеждина по теории изящных искусств, а также по “археологии”, представлявшей собою исторический обзор памятников искусства. Согласно многочисленным свидетельствам, читал Надеждин в импровизационной манере¹⁴. Сам профессор впоследствии вспоминал, что в университете “не писал лекций, но, предварительно обдумав и вычитав все нужное, передавал живым словом”¹⁵. М.А. Максимович и П.И. Прозоров оставили воспоминания о посещении одной из лекций Надеждина С.С. Уваровым. В обоих текстах дословно воспроизведено весьма показательное высказывание министра, которого поразило различие между стилистикой устной, лекционной и письменной, журнальной речи Надеждина (“Читает лучше, чем пишет”¹⁶). Уваровское предпочтение Надеждина-лектора Надеждину-критику нуждается в дополнительном комментарии, для которого в настоящей работе нет места; однако сам факт непроизвольного сравнения высокопоставленным визитатором лекций и журнальных статей университетского профессора весьма показателен. Стоит упомянуть и о том, что во время уваровских визитаций к чтению пробных лекций нередко привлекались студенты¹⁷.

Итак, наряду с углублением, фундаментализацией преподавания основных дисциплин крепла ориентация профессоров и администрации старейшего в России университета на внеакадемическое (“популярное”, “журналистское”) восприятие лекций. Подтверждение этому (только по видимости противоречивому, парадоксальному) тезису легко обнаружить в источниках. В мемуарах, относящихся к 30-м годам, весьма часты упоминания о присутствии на лекциях известных лиц не из числа студентов: Хомякова¹⁸, Жуковского¹⁹, Пушкина²⁰. Чем более фундаментальными, специализированными становились университетские лекции, тем более притягательны они были не только для известных писателей, мыслителей, педагогов, но и для достаточно широкого круга московских слушателей²¹.

Так, развивалась и крепла в Московском университете традиция чтения *публичных лекций*. До общемосковского триумфа знаменитых лекционных курсов Т.Н. Грановского оставалось еще целое десятилетие, однако сам по себе жанр публичных (т.е.

специально ориентированных на непрофессиональное восприятие) лекций появился гораздо раньше и по иным причинам: “К числу прекрасных действий публичного преподавания, первоначально заведенного *из-за недостатка подготовляющихся в университет, особенно в городах, где нет гимназий* (Курсив мой. — Д.Б.), должно отнести публичные лекции Русской Словесности [А.Ф.] Мерзлякова, читанные великим постом в 1812 году. Просвещенный вельможа князь Борис Владимирович Голицын предложил для них обширную залу в своем доме, что был на Басманной. Беседы продолжались весь великий пост по средам и по субботам. Лучшее общество Москвы окружило своим вниманием Профессора. В десять лекций прочтена была вся теоретическая часть изящной словесности”²² Любопытно, что практика проведения публичных лекций опередила законодательные инициативы Министерства народного просвещения: только в 1841 г. был опубликован проект “Постановления о публичных лекциях”, написанный по поручению С.С. Уварова А.В. Никитенко²³.

Таким образом, в начале 1830-х годов процесс сближения московской журналистики и университетской науки, эмпирически очевидный при простом перечислении названий популярных журналов, их редакторов и издателей, был также поддержан важными переменами, происшедшими в стенах университета, именно — в самом способе преподавания учебных предметов. Кроме появления на кафедрах целой плеяды ярких молодых профессоров, смело обращавшихся к новинкам словесности и науки, мы отметили уход в прошлое “энциклопедического” чтения лекций, разработку профессорами оригинальных курсов, основанных на собственных научных изысканиях, развитие импровизационной манеры преподавания и навыков “литературного” конспектирования у студентов. Установка на доступность лекций для непрофессионалов воплотилась в традиции публичных курсов, большое значение имела также практика “пробных” студенческих лекций на заданные темы²⁴.

Как уже говорилось, ни один из восьми тяготевших к университету журналов после кризисного холерного года возобновлен не был (за исключением “Вестника естественных наук и медицины”, выходившего в 1828—1829 и 1831—1832 гг.). Столь заметную убыль периодических изданий университет попытался

компенсировать основанием в 1833 г. “Ученых записок” под редакцией профессоров И.И. Давыдова и Д.М. Перовощикова. Напомним, что тогда же (с 1834 г.) в Петербурге под редакцией Никитенко стал выходить имевший долгую историю “Журнал Министерства Народного просвещения”, так что недостаток в научной периодике был отчасти восполнен. Однако возможности для публикации массовых, популярных материалов в этих сугубо специальных изданиях были существенно сужены, кроме того, московские “Ученые записки” просуществовали лишь два с половиной года²⁵.

1830 год в Москве благополучно пережил лишь “Московский телеграф”, не только не имевший прямого отношения к университету, но и известный своими резкими выступлениями против “Вестника Европы”, “Атеней” и т.д.

В начале 30-х годов (1831) “на месте” нескольких исчезнувших близких к университету журналов возник надеждинский “Телескоп”. При этом противостояние “Московский телеграф” – “университетская журналистика” естественным образом сохранилось: Полевой бранил Надеждина-критика еще за его первые статьи, явившиеся под именем “экс-студента” Никодима Надоумки в “Вестнике Европы” Каченовского. Не менее скептически относился Полевой к трудам Надеждина-ученого: известна его уничижительная заметка о двух появившихся в печати фрагментах латинской диссертации Надеждина “О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической”²⁶.

Позиция “Московского телеграфа” может рассматриваться как некая константа, знак преемственности общемосковской журнальной ситуации *до* и *после* “холерного” исчезновения нескольких “университетских” журналов. Сменились оппоненты Полевого, однако в силе оставалось универсальное для Москвы 1825–1835 гг. *противостояние теоретического и антитеоретического подходов* к литературному процессу, к анализу конкретных произведений изящной словесности.

Сама по себе данная антитеза достаточно прямолинейна, а ее “универсальность” граничит с очевидностью и схематизмом. Действительно, если следовать схеме, то ситуация рубежа второго и третьего десятилетий окажется вариацией на известную тему, развитием полемики между адептами классицистической нормативности и романтической свободы творчества, причем литераторы университетской ориентации неминуемо окажутся про-

должателями традиций нормативной эстетики и критики. Для подкрепления схемы можно было бы напомнить эпиграммы Пушкина, адресованные в 1829 г. Каченовскому и Надоумке-Надеждину (“Там, где древний Кочерговский...”, “Мальчишка Фебу гимн поднес...”, “В журнал совсем не европейский...”). В этих эпиграммах осмеянию как будто бы подвергаются не то или иное конкретное мнение, оценка, но само по себе чрезмерное пристрастие сотрудников “Вестника Европы” к наукообразным построениям (“За сим принес семинарист²⁷ // Тетрадь лакейских диссертаций” и т.п.).

Однако было бы по меньшей мере рискованно записывать в “теоретики” (а следовательно — в противники Полевого) целиком обширную группу университетских журналистов, от шеллингианца естественника М.Г. Павлова до скептика историка Каченовского. “Университетская журналистика” (несмотря на ее важнейшую роль в расстановке московских литературных сил во второй половине 1820-х годов) не может быть безоговорочно отождествлена с “теоретическими”, “научными” подходами к литературе. Следовательно, само понятие “научного”, “теоретического” отношения к словесности нуждается в существенном уточнении.

Обратимся к одному из достаточно известных событий в истории московской журналистики конца 1820-х годов. В 21–22-м номерах “Вестника Европы” за 1828 г. была опубликована статья “Литературные опасения за будущий год” — дебют Н. Надеждина-критика. Диалог премудрого *Надоумки* и его оппонента — сторонника романтизма *Тленского* — пестрел разноречивыми цитатами из двенадцати древних и новых философов, в критической статье обсуждалось ключевое понятие кантовской эстетики (“Zweckmässigkeit ohne Zweck” — “целесообразность” либо “соразмерность цели” “без цели”), — словом, учености было с избытком. Следом Полевой под псевдонимом *И. Бенигна* (“Плодородный”²⁸) публикует в “Телеграфе” статью “Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год” (1828. Ч. XXIII. № 20), в которой выступает не столько против конкретных доводов Надеждина, сколько против общей “научно-просветительской” стратегии “Вестника Европы”, а заодно и “Московского вестника”.

Оскорбленный Каченовский подает в Московский цензурный комитет жалобу на... цензора “Телеграфа”, известного ли-

тератора С.Н. Глинку, который был известен многими причудами, например, обыкновением подписывать к печати, не читая, все представлявшиеся ему журнальные материалы²⁹. Неординарность поступка Каченовского, подавшего в цензурное ведомство, применяя современную терминологию, “иск о защите чести и достоинства”, этим, однако, не исчерпывается. «В собрании университетского совета была прочитана статья “Московского телеграфа”, будто бы оскорблявшая в лице Каченовского, почетнейшего между сочленами, все их сословие. Ни один голос не восстал против этого нелепого обвинения, и все присутствовавшие подписали прошение к министру народного просвещения, где выставляли издателя “Московского телеграфа” как оскорбителя ученого сословия и просили расправы с дерзким самовольником, а еще более с явным его сообщником, цензором Глинкою”³⁰. Итак, нападки Полевого на “Вестник Европы” явно выходят за рамки сугубо литературного спора. Речь шла (по крайней мере в восприятии Каченовского и его коллег) об атаке на весь цех университетских преподавателей.

На полемику “Московского телеграфа” с “Вестником Европы” живо откликнулся Пушкин. Прежде всего в привычном жанре эпиграммы, направленной против Каченовского:

Журналами обиженный жестоко,
Зонл Пахом печалился глубоко:
На цензора вот подпал он донос;
Но цензор прав – нам смех, зонлу нос.
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя писать: *“Такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол и подл”* – все это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер
(*В своих статьях*) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор³¹.

Пушкин пишет также специальную заметку “Отрывки из литературных летописей” (датированную в черновом автографе 27 марта 1829 г.). Однако цензурный запрет помешал опубликовать заметку в “Невском альманахе”, и она появилась только к концу года в “Северных цветах на 1830 год” (СПб.: Тип. Депар-

тамента народного просвещения, 1829). К этому моменту пушкинский текст утратил свою злободневность, перестал быть простой репликой в споре Каченовского с Полевым. Читатель получил не столько литературно-критическую заметку, сколько рассуждение о законах, правилах, по которым *должно* вести полемику. С самого начала Пушкин (правда, не без иронии) утверждает, что собирается “изложить все дело *sine ira et studio*”³². Анализируя “*литературное поведение*”³³ спорщиков, Пушкин находит, что “в статье г. Полевого личная честь г. Каченовского не была оскорблена”³⁴. Посему решение Каченовского предпринять “другие (т.е. “нелитературные”. — Д.Б.) меры к охране своей личности”³⁵ признается немотивированным, а следовательно, недостойным.

Конечно, вывод Пушкина о том, что в нападках Полевого присутствует “не лицо, а только литератор”, не лишен злого сарказма. Однако важно другое: рассуждая в терминах *своей* литературной партии (“Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны пред законами критики”³⁶), Пушкин весьма проницательно комментирует “антипрофессорские” высказывания Полевого. Действительно, *И. Бенигну* вроде бы раздражают “академические” суждения Каченовского (“законы словесности молчат при звуках журнальной полемики”), стремление последнего привнести профессорские интонации, научную терминологию в литературные споры: «Надобно, чтобы голос их <т.е. “законов словесности”> доходил до слуха любознательного”³⁷.

Однако не следует забывать, что после обращения Каченовского в цензуру с жалобой на С. Глинку Полевой не только не умолк, но наоборот — в целом ряде журнальных материалов прокомментировал свою позицию весьма недвусмысленным образом. Он выступает не против учености как таковой, но против учености *ложной* и педантской. Каченовский обвиняется не в излишней склонности к теории как таковой, но в научной некомпетентности, отсутствии серьезных трудов³⁸. Значит, противостояние журнала Николая Полевого “университетским” изданиям конца 1820-х годов в принципе не является знаком его оппозиции *любой* литературной теории. Критики “Телеграфа” порицают ложную (классическую, оторванную от требований современности) ученость, а взамен предлагают не что иное, как сугубую (“правильную”, “современную”) ученость.

Н. Полевой во многих выступлениях специально подчеркивает значение науки и научности для современной литературы и журналистики. “Что же в наше время должно быть целью русского литературного журнала?” – спрашивает издатель “Телеграфа” и отвечает: “Литература распространила свою область и, питая просвещенное уважение к понятиям и к произведениям древних, присоединила к умственному богатству своему опыт времен средних и новых. <...> Прежде <...> хирург был хирургом и не хотел думать ни о чем другом; литератор учился по-латыни, по-гречески <...>. Ныне естествоиспытатель и законовед столь же тщательно заботятся о своем литературном образовании, сколько литератор старается войти в область их наук”³⁹. Таким образом, ответ на вопрос: “Чем должен заниматься русский журналист?” ясен: “Он должен выставить в истинном свете устаревшие ложные понятия, мнения, поверья и притом излагать новые взгляды великих критиков. Он должен уведомлять о новых явлениях, представляющих новые завоевания в области наук”⁴⁰.

Итак, на рубеже 1820–1830-х годов в московской журналистике установка на изучение объективных законов литературного развития не просто является доминирующей количественно (исходя из преобладания журналов, издававшихся близкими к университету литераторами). В журнальной полемике действует своеобразный “закон обратной пропорциональности”: чем более тот или иной литератор далек от университетских кругов, чем более непримиримо он порою высказывается об ученом “педантстве”, тем с большей долей вероятности можно ожидать, что именно этот журналист, критик предложит собственный вариант *теоретического* осмысления литературы. В случае с Н. Полевым следует учесть, конечно, и многие психологические обстоятельства: болезненные эмоции по причине купеческого происхождения, отсутствия систематического образования и т.д. В подчеркнутом стремлении не только быть на высоте достижений науки, но и самому создавать фундаментальные труды – немало напускного, поверхностного. Самый яркий пример – нападки Полевого на Карамзина и написание в полемике с ним собственной “Истории русского народа” – книги, по мнению многих, путаной и торопливой⁴¹.

Однако выводить стремление Полевого и его журнала к логически и терминологически продуманным рассуждениям о ли-

тературе только из обстоятельств биографических было бы вовсе не правильно. Потому, например, что на страницах “Московского телеграфа” появилось в 1833 г. одно из самых глубоких в ту пору рассуждений о природе литературного “направления”, “партии”. Ксенофонт Полевой писал: “Направлением в литературе называем мы то, часто невидимое для современников внутреннее стремление литературы, которое дает характер всем или по крайней мере весьма многим произведениям ее в известное, данное время. Оно всегда есть и бывает почти независимо от усилий частных. Основанием его <...> бывает идея современной эпохи или направление целого народа”⁴². В пору необыкновенной пестроты мнений и остроты полемических столкновений (нередко уже окрашенных в цвета московско-петербургского противостояния) именно в “Московском телеграфе” появился вывод о том, что “ее <литературы> направления бывают сообразны времени и месту, и в этом смысле никакие партии не могут поколебать ее”⁴³.

Рассмотрим другой пример неочевидного “литературного поведения”. Схема во многом близка только что описанной: не имеющий непосредственного отношения к академической учености литератор не выступает врагом всякой “научности” вообще, но взамен отвергаемого варианта теории предлагает собственные теоретические построения. Итак, в сентябре 1832 г. Пушкин был приглашен товарищем министра С.С. Уваровым посетить с ним вместе лекцию профессора И.И. Давыдова. Выше уже говорилось, что Уваров придавал большое значение своим весьма частым приездам в Москву. Известно, что “граф”⁴⁴ С.С. Уваров посещал университет в 1832, 1834, 1837, 1841, 1842, 1844, 1846, 1848 годах. Посещения <...> совершались обыкновенно при начале академического года и бывали всегда продолжительны, в течение сентября и октября месяцев. Не было, конечно, профессора, которого министр не выслушал бы с кафедры”⁴⁵.

Войдя с Пушкиным в аудиторию, где И.И. Давыдов читал лекцию, сановник произнес, видимо, “заранее приготовленную”⁴⁶ фразу: «“Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство”, – прибавил он, указывая на Пушкина»⁴⁷. Противопоставление “теории искусства” и “самого искусства” задумывалось как кульминационный момент назидательного

спектакля, тщательно подготовленного Уваровым для юных московских словесников. Замысел Уварова был ясен и Пушкину. Непосредственно перед визитом он писал жене: “Сегодня ему слушать Давыдова, <...> профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник — а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие”⁴⁸. В этом, словно бы походя высказанном признании (ему предшествует фраза “Иполит принес мне кофей”) очень важно определение Пушкиным себя в качестве “оглащенного”. В церковной традиции так называли тех, кто еще не принял крещение, а лишь подвергнут “оглашению”, т. е. первоначально ознакомлен с христианским вероучением — помимо церковных таинств. Для оглашенных допускалось лишь частичное присутствие на литургии. Именно ощущение “оглащенности”, т. е. собственной непосвященности в академические таинства, владеет Пушкиным накануне визита в университет⁴⁹.

Уваров намеревался публично продемонстрировать различные воззрений ученого, способного *объяснить* искусство, и поэта, которому дано *сотворить* его помимо разъяснений. Однако в аудитории события развивались не по министерскому сценарию. Возникла совершенно непредвиденная интрига: «“После лекции И.И. Давыдова должен был читать М.Т. Каченовский. <...> В то время “Вестник Европы” уже прекратился, но еще у всех в памяти были, с одной стороны, грозные филиппики “Вестника” против Пушкина, а с другой — злые и бойкие эпиграммы Пушкина <...> Поэт и его грозный Аристарх, не вспоминая прошедшего, завели между собою, по поводу читанной профессором Давыдовым лекции, разговор о поэзии славянских народов и в особенности о “Песни о полу Игоре” <e>”. Этот спор, живой и одушевленный с обеих сторон, продолжался около часа»⁵⁰.

Сановный визитатор не преминул воспользоваться возникшей ситуацией в воспитательных целях: «“Подойдите ближе, господа, это для вас интересно”, — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров»⁵¹. Однако возник вовсе не тот разговор, на который, по всей вероятности, рассчитывал министр. Вместо назидательного диалога “теории искусства” и “самого искусства” завязалась *научная* полемика, столкнулись *две* “теории искусства”: “Пушкин горячо отстаивал подлинность древнего эпоса, а Каченовский

вонзал в него свой беспощадный аналитический нож”⁵². Отстаивая свою точку зрения, Пушкин продемонстрировал незаурядную осведомленность в предмете. И.И. Давыдов привлек к спору однокурсника Гончарова и Межевича – О.М. Бодянского, в будущем знаменитого ученого-слависта. Бодянский, «увлеченный Каченовским, доказывал тогда подложность Слова. Услышавши об этом, Пушкин с живостью обратился к Бодянскому и спросил: “А скажите, пожалуйста, что значит слово *харалужный*?” Не могу объяснить. Тот же ответ и на вопрос о слове *стрикусы*. <...> “То-то же, говорил Пушкин, никто не может многих слов объяснить, и не скоро еще объяснят”»⁵³.

Неожиданный (по ощущавшийся “оглашенным” поэтом как возможный) экзамен был выдержан с честью. Саркастические наскоки на ученое педантство Каченовского более Пушкина не привлекали. Через несколько дней поэт дает жене беглый отчет о происшедших событиях: “На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились <с> ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Передай это Вяземскому”⁵⁴.

Вполне корректный научный спор с Каченовским в университетской аудитории, разумеется, нельзя считать случайным для Пушкина событием. В начале 1830-х годов (в частности, после прекращения издания “Литературной газеты”) Пушкин заново продумывает приоритеты собственной литературно-критической ориентации. Речь идет не о вхождении в некое новое литературное сообщество, но о пересмотре самих принципов оценки художественного произведения.

Критика, основанная на частном мнении, на личном вкусе, вызывает у поэта все большее недоверие своей неопределенностью и зависимостью от множества случайных партийных симпатий. Показательно письмо Пушкина Погодину от 11 июля 1832 г.: “Мне сказывают, что Вас где-то разбранили за Посадницу⁵⁵: надеюсь, что это никакого влияния не будет иметь на Ваши труды. Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили бог весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву. У нас критика конечно ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было – непростительная слабость”⁵⁶.

А ведь всего за год-полтора до памятного спора с Каченовским Пушкин не раз высказывался проницательно об “учености” московских университетских светил. Так, в письме Погодину от 27—30 июня 1831 г. поэт писал: “Жалею, что Вы не разделились еще с Московским университетом, который должен рано или поздно извергнуть вас из среды своей, ибо ничего чуждого не может оставаться ни в каком теле. А ученость, деятельность и ум чужды Московскому университету”⁵⁷. В предназначавшемся для “Литературной газеты” памфлете, условно именуемом “Альманашик” (1830), Пушкин высказался еще более резко;

— Служба тебе знать не дается. Возьмись-ка за что-нибудь другое.

— А за что прикажешь?

— Например за литературу.

— За лит.<ературу>? Господи Боже мой! в сорок три года начать свое литературное поприще.

— Что за беда? а Руссо?

— Руссо <...> был человек ученый; а я учился в Московском университете”⁵⁸. В 30-е годы отношение Пушкина к академической учености меняется коренным образом, он непосредственно приступает к реализации своих исследовательских замыслов в области русской истории (“История Петра”, “История Пугачева”), предпринимает поездки, архивные разыскания⁵⁹ и т.д.

Приведенные примеры из сферы “литературного поведения” призваны были подтвердить наше предположение о том, что определяющее влияние на развитие московской журналистики и литературной критики оказывали журналы, издававшиеся выпускниками и профессорами университета. Это влияние имело место и после 1830 г., когда многие “университетские” журналы перестали существовать. К середине 30-х годов было осознано и сформулировано различие между “московским” и “петербургским” типами критического рассмотрения литературы. Так, в известном пушкинском тексте, писавшемся в 1833—1835 гг. и при посмертной публикации получившем название “Путешествие из Москвы в Петербург”, содержится утверждение о том, что “ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойные стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литера-

туре, как о музыке, о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впаад и остроумно, но большею частью неосновательно и поверхностно"⁶⁰.

Подобную дефиницию выводит и Гоголь в своей статье "Петербургские записки 1836 года", опубликованной в шестом томе пушкинского "Современника": "Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы неидут наряду с веком, но выходят аккуратно, в положенное время"⁶¹.

Предпосылки отмеченных Пушкиным и Гоголем принципиальных различий между московской и петербургской журналистикой следует искать в университетских аудиториях. В Петербурге университетское преподавание было в гораздо большей степени обособлено от современного литературного развития. В историческом очерке В.В. Григорьева прямо отмечено, что "уровень преподавания в десятилетие с 1822 по 1832 гг. находился вообще на высоте весьма незавидной. Преподавателей, настолько владевших своим предметом, что в состоянии были двигать его собственными самостоятельными трудами, насчитывалось всего пять-шесть человек. <...> В остальной массе преподавателей <...> при отсутствии надлежащей ученой подготовки, при слабости способностей и немоши духа царствовало преклонение тому или другому, чужому или собственного мастерства учебнику, в котором заключалось почти все сокровище знаний самого преподавателя <...> От студентов не требовалось ничего, кроме заучивания этих учебников наизусть"⁶².

В мемуарах и в официальных источниках часто специально отмечается слабость преподавания в университете русской филологии. Так, Ф.И. Фортунатов вспоминал: «Когда я поступил в университет⁶³, преподавание отечественного языка и словесности далеко не могло сравниться с преподаванием древних языков. В 1 и 2 курсах читал экстраординарный профессор Никита Иванович Бутырский, а в 3-м курсе ординарный профессор Яков Васильевич Толмачев. В 1-м курсе обыкновенно проходила теория прозы, во 2-м теория поэзии, а в 3-м профессор Толмачев должен был занимать студентов этимологическими исследованиями языка. <...>

Страсть Толмачева к кор<не>словию и производству слов в иностранных языках от славянских корней известна была тогда всем. Приведу для курьеза один пример его корнесловия: это производство слова *хлеб* на разных языках. Сначала, говорил он, когда месят хлеб, делается хлябь; отсюда наше *хлеб*; эта хлябь начинает бродить, отсюда немецкое *Brot*; перебродивши, хлеб опадает на *низ*, отсюда латинское *panis*. Затем на поверхности появляется пена, отсюда французское *pain* – *Кабинет* производил он от слов *как бы нет* <...>: человека, который удаляется в кабинет, как бы нет”⁶⁴.

Плетнев (издавший свой очерк истории университета за четверть века до выхода в свет цитированного выше труда В.В. Григорьева) гораздо более сдержан в характеристике преподавания отечественной филологии в конце 20-х годов. Во многом это объясняется деликатностью ситуации – ректор университета должен был высказывать мнение о своих предшественниках по кафедре. Однако, оставаясь предельно корректным, Плетнев находит для оценки лекций профессоров Бутырского и Толмачева гораздо более точные и определенные формулировки по сравнению с фортунатовскими или григорьевскими. “В отделении словесных наук кафедра красноречия, стихотворства и русского языка была разделена между профессорами *Толмачевым* и *Бутырским*. Первый занимал филологов этимологическими исследованиями языка. Теория словесности, изложенная в изданном им курсе, принадлежит к учению, основанному на примерах и правилах Древних. Получив сам образование в Киевской духовной академии и занимавшись долго преподаванием словесности в Харьковском коллегииуме и Александро-Невской семинарии, профессор *Толмачев* предпочитал формы и дух так называемого классицизма современным понятиям об изящных искусствах <...> Профессор *Бутырский*, слушавший в Германии лекции *Бутервека*, предпочитал Эстетику и Критику частным правилам сочинений. Он действовал на развитие вкуса вообще, но его труды по кафедре Политической Экономии препятствовали ему неуклонно следовать за всеми явлениями отечественной и иностранных литератур”⁶⁵. Можно легко обнаружить немало общих черт в биографиях Н. Бутырского и Я. Толмачева, с одной стороны, и с другой – в судьбах их московских коллег-современников (образование в духовной академии получил Надеждин, многие москвичи совершенствовали свои знания в

Германии и т.д.). Однако налицо и подчеркнутое Плетневым кардинальное различие: полный отрыв теоретических построений петербургских профессоров от литературной⁶⁶ современности.

В 1832 г. Бутырского и Толмачева сменили Плетнев и Никитенко. Многое в преподавании изменилось, студентам нравились, например, живые рассказы Плетнева о последних литературных новостях. При этом особенно важным было то, что в роли рассказчика выступал не сторонний наблюдатель и аналитик, но непосредственный участник литературного движения. Подобно московским профессорам, Плетнев порою доброжелательно разбирал на лекциях произведения своих студентов⁶⁷. Плетнев добросовестно пытался соответствовать роли профессора, выстраивал свои курсы по продуманной теоретической схеме⁶⁸. Однако его заемные теоретические построения если и принимались всерьез во внимание, занимали в сознании читателей и слушателей обособленное место, не были напрямую связаны с образом Плетнева — литератора и критика. “Плетнев был самостоятельным критиком в том отношении, что не придерживался одной какой-нибудь определенной теории из выработанных в Западной Европе <...> Он руководился своим личным критическим чутьем, легкою способностью угадывать хорошие стороны в известных произведениях”⁶⁹. Говоривший с кафедры о теоретических основах оценки произведений, на практике Плетнев избегал следовать каким бы то ни было теориям, полагался на вкус и эмпирическое, личное впечатление. По его мнению, критика должна не доказывать соответствие произведения неким тезисам, но идти вслед за непосредственностью производимого художественным текстом впечатления.

В отличие от Плетнева А.В. Никитенко совершенно всерьез пытался выстроить собственную теоретическую литературоведческую концепцию, ибо с самого начала деятельности “историко-критическое изъяснение произведений литературы он принял за основание своих лекций и соединил в них взгляд на успехи умственные вообще с характеристикой самого искусства, в переменах которого он показывает развитие духовной жизни нации”⁷⁰. Кроме нескольких учебных руководств и монографий, посвященных общим проблемам теории литературы⁷¹, Никитенко дважды (в 1836 и 1842 гг.) произносил “в собрании” университета особые речи о литературной критике⁷². Однако теоретические воззрения Никитенко были абстрактны и подчас невразу-

нительны, далеки от современной литературной практики, даже от его собственных (не всегда безнадежно посредственных) критических статей. С годами профессор все более превращался в оратора, проповедующего с кафедры некие рецепты благочестивой жизни, а вовсе не способы критической оценки произведений литературы⁷³. Все это понимал сам Никитенко и, судя по многим данным, сознательно стремился к такому развитию своей педагогической деятельности. Вот дневниковая запись, относящаяся к 1841 г.: “Главная задача моя в <...> слове, которое действовало бы на умы и пробуждало в слушателях стремление к высокому, к гуманному. <...> Мое естественное влечение — обратить кафедру в трибуну. Я желаю больше действовать на чувство и волю людей, чем развивать перед ними теорию науки. Мне кажется, что я больше оратор, чем профессор”⁷⁴. Подобно Плетневу, Никитенко не только не создал алгоритма применения своих идей к реальной журналистской практике, но, наоборот, высказывал запоминающиеся, яркие критические суждения именно тогда, когда “забывал” о тяжелой риторике, выходил за пределы теорий и отдавался сиюминутному впечатлению от книги. По словам Ю.Ф. Самарина, “...г. Никитенко <...> систематического воззрения на предметы <...> не имеет. <...> Он пишет редко и немного. Теоретические соображения его почти всегда слабы и бесцветны: но его личные впечатления почти всегда останавливают на себе внимание”⁷⁵.

Нельзя не упомянуть и о третьем петербургском профессоре-журналисте — востоковеде О.И. Сенковском, популярном беллетристе и редакторе “Библиотеки для чтения”. Здесь картина еще более ясная. Если у Плетнева и Никитенко критическая и преподавательская деятельность развивались “параллельными курсами” (не создавая сколько-нибудь самобытного и органичного целого, не провоцируя журнальной полемики), то в судьбе Сенковского профессорство и журналистика почти исключали друг друга, вернее, друг за другом следовали: редакторство “Библиотеки для чтения” практически отменило собою университетскую службу: “К началу 30-х годов <...> Сенковский совершенно охладевает и к университету и к своему положению в нем. Более того, он начинает тяготиться своими профессорскими обязанностями⁷⁶, как докучливым делом, отвлекающим его от журналистики, которая с 1834 года занимает все его внимание и время”⁷⁷. Более того, в качестве критика Сенковский де-

монстративно не использует каких бы то ни было общих концепций, он создает “фельетонную” критику, стремящуюся к парадоксальным суждениям, основанным лишь на личном мнении. Отсюда парадоксальность многих выступлений Сенковского-критика, произвольные сопоставления творчества мировых классиков и современных беллетристов и т.д.

Как видим, теоретический подход к литературе в Петербурге 1830-х годов существовал только в стенах университета, за небольшими исключениями не представлял собою злободневного предмета для обсуждения в журналах. Теория не служила для литературно-критической практики точкой отсчета, не порождала стремления искать в литературных новинках неких “объективных” характеристик, а не просто подтверждений “партийных” доктрин. В отличие от Москвы, где в роли “теоретиков” нередко выступали литераторы, к университетской среде отношения не имевшие, в Петербурге, наоборот, даже профессора-филологи, участвовавшие в журналах, писали критические статьи, не сообразуясь с собственными научными построениями. Различие московского и петербургского критического “микроклимата” явным образом сказывается на деятельности многих литераторов, совершивших сакраментальное “путешествие из Москвы в Петербург” (В.Ф. Одоевского, Н.А. Полевого, Н.И. Надеждина, В.Г. Белинского и др.). Приведем один лишь красноречивый пример, связанный с первыми годами пребывания в столице Белинского.

В Москве “литературное поведение” Белинского во многих случаях укладывается в ранее выведенный нами алгоритм: литератор, ощущающий свою неполную причастность к университетской академической премудрости, полемизируя с последней, тем не менее, стремится стать “большим роялистом, чем сам король”, завоевать репутацию знатока. Так, в 1837 г. недоучившийся студент Белинский издает “Основания русской грамматики для первоначального изучения. Ч. I. Грамматика аналитическая (этимология)”⁷⁸. В те же годы не знающий немецкого языка Белинский не только постигает при помощи М.Н. Каткова, М.А. Бакунина и В.П. Боткина философию Гегеля, но и претендует в течение некоторого времени на роль ведущего идеолога московских гегельянцев.

Переезд в Петербург в 1839 г. означал для Белинского резкий отход от гегелевских диалектических схем — это обще-

известно. Атмосфера петербургской журналистики, как мы старались показать выше, не располагала к систематическим штудиям, литературная (а также эстетическая, философская) теория попросту не осознавалась в какой бы то ни было связи с журналистикой, не являлась для критиков проблемой. Однако некоторое время Белинский как бы по инерции и в Петербурге ведет себя как москвич, воспитанный на нескончаемых метафизических дискуссиях. В частности, задумывает обширный трактат под названием “Теоретический и критический (sic! — Д.Б.) курс русской литературы”. Замысел по вполне естественным (“петербургским”) причинам остался нереализованным. Сохранились два фрагмента, которые должны были войти в раздел “Эстетика”. Один — под условным названием “Идея искусства” — остался под спудом, другой — известная статья “Разделение поэзии на роды и виды” анонимно напечатан в “Отечественных записках” (1841. Т. XV. № 3. Отд. II. С. 13–64). Удивительные подробности об обстоятельствах написания этой статьи содержит письмо Белинского Боткину, датированное 1 марта 1841 г.

Экс-москвич Белинский колеблется между двумя противоположными устремлениями. С одной стороны — критик чрезвычайно резко высказывается о гегелевской систематике: “Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему <...>, мирясь с расейскою действительностью, хваля Загоскина и подобные гнусности”⁷⁹. В своем неприятном логизированного, системного понимания мира Белинский порою едва ли не предвосхищает стилистику откровений Подпольного человека: “Благодарю покорно, Егор Федорович (обычная для участников кружка Станкевича пародийная русифицированная форма имени Гегеля — *Георг Фридрих*. Ю.М.) — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий и истории”; “судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (то есть гегелевской *Allgemeinheit*)”⁸⁰.

Буквально на следующей странице письма Белинский переходит к разговору о своей “систематической” статье: «В 3 № “Отечественных записок” ты найдешь мою статью — истинное чудо-вище! пожалуйста, не брани, сам знаю, что дрянь. Чувствую, что

я голова не систематическая, а взялся за дело, требующее строжайшей последовательности»⁸¹. Более того, оказывается, что статья основана на идеях только что обруганного “Егора Федоровича”, да еще в изложении Каткова: “Катков оставил мне свои тетрадки – я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти всё его слово в слово”⁸².

Как же мотивирует Белинский столь явный парадокс – создание статьи на основе теории, в которую он более не верит? Вот как: “Если я не дам (новой. – Д.Б.) теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши реторики, пиитики и эстетики, – а это разве шутка? И потому охотно отдаю на поругание честное имя свое”⁸³. Как видим, Белинский ощущает антитеоретический питерский дух и, хотя явно не удовлетворен своей попыткой дать системную картину родов и видов поэзии, не может смириться с угрозой, нависшей над тем, что долгие годы было главным содержанием жизни для него и его московских друзей. “Оглашенный” снова стремится доказать свою компетентность – даже ценой двойного плагиата, использования катковских “тетрадок” с выписками из Гегеля.

Десятилетие, прошедшее под знаком тяготения московской журналистики к университетской науке (1826–1836), продолжало давать о себе знать и в дальнейшем, когда, как уже отмечалось, невозможно стало говорить о “внутримосковской” журнальной полемике, а основные разногласия обнаружились уже между мнениями журналистов в обеих столицах империи. Важно в итоге наших рассуждений подчеркнуть, что различные функциональные характеристики теоретического знания в московской и петербургской критике сказывались не только в “литературном поведении” основных участников журнальных споров, но и в “поэтике” статей и рецензий, в различии самих подходов к анализу художественного текста.

Через год после опубликования в “Отечественных записках” запоздало гегельянской статьи Белинского вышел в свет первый том гоголевской поэмы “Похождения Чичикова, или Мертвые души”. Для сравнения “московской” и “петербургской” манер оценивать литературное произведение мы обратимся к трем разборам “Мертвых душ”⁸⁴. П.А. Плетнев начинает свою статью с констатации абсолютного отсутствия в гоголевской поэме какой бы то ни было целенаправленной тенденции, стремления следовать некой доктрине: “У него <Гоголя> в искусстве не видно

уже авторского усилия приблизиться к определенной цели, как, например, навести читателя на любимую идею <...>⁸⁵. Свой метод пристального взглядывания в детали поэмы Плетнев с самого начала противопоставляет критике, действующей по общепринятым правилам. Так, Плетнев учитывает неоспоримое мнение о том, что критику, пишущему о “Мертвых душах”, *следовало бы* неодобрительно подчеркнуть сравнительное несовершенство драматургии, “неразвитость действия”. Однако “критика, на теории основанная, и критика, рождающаяся *в минуты созерцания самих явлений* (NB; курсив мой. — Д.Б.), часто не соглашаются между собою. <...> Все правила сами по себе, конечно, должны быть хороши, потому что рождаются от долговременных наблюдений. Но применение правил есть опыт, зависящий от сил каждого. Кто их <правил> условия сознает сам собою, тот и действует успешно; а кто ловит их и бессознательно применяет, тот производит одну механическую работу, ничего не творя художнически”⁸⁶.

Укажем теперь на противоположный вариант “петербургского антитеоретизма”. В черновом варианте рецензии на “Мертвые души” Сенковский создает фельетонную ситуацию, по сути дела заранее предопределяющую итоговую оценку⁸⁷. Статья о поэме Гоголя замаскирована под... рецензию на сборник сказок “Тысяча одна ночь”. Рассказывая историю “Шехерзады” (так! — Д.Б.), критик передает ее разговор с визирем, пытающимся внушить претендентке на звание супруги султана “Шехрияра”, что жестокий владыка наутро умерщвляет всех своих новоприобретенных жен: “Милая дочь моя! воскликнул тогда мудрый визирь в совершенном отчаянии: я боюсь, чтобы по милости твоей самонадеянности не случилось с тобою того же, что случилось [с одним самонадеянным писателем] непомерным тщеславием одного сочинителя, который, написав нечистоплотный роман в пошлом роде Поль-де-Кока, вздумал гордо назвать его поэмою.

— А в чем, спросила Шехерзада, состоит притча о непомерном тщеславии сочинителя <...>?⁸⁸ В ответ собеседник Шехерзады рассказывает о том, как бык по имени Силич, верблюд Горбунов и осел Разумникович ведут неторопливый спор о достоинствах некоего сочинения, в котором легко узнаются “Мертвые души”. Дискуссия персонажей притчи весьма напоминает спор между “двумя русскими мужиками” на первой странице поэмы Гоголя, а также некоторые другие сцены книги.

В печатном варианте рецензии Сенковского резкость оценок несколько смягчена⁸⁹, однако сам принцип построения текста остался непоколебленным. Рецензент не приводит ни малейших аргументов в пользу своих соображений, его оценки верны уже потому, что они могут иметь (и действительно имеют) место. Как видим, хвала и хула петербургских рецензентов “Мертвых душ” в равной степени не основаны на стремлении аргументировать свои доводы серьезными теоретическими соображениями, ссылками на авторитетные теоретические концепции и т.д.

Для подтверждения нашего тезиса о принципиально различном отношении к теории московских и петербургских критиков достаточно привести начало первой (из двух) статей о “Мертвых душах”, написанных С.П. Шевыревым. Критик начинает как раз с констатации бессилия любых произвольных мнений о литературном произведении, оценок, не основанных на четко осознанных критериях. “Странная участь постигает поэтическое произведение, когда оно из головы художника выступит в полном своем вооружении⁹⁰ и перейдет в собственность читателей! Художник успокоился и, предав свое создание в жертву толпе, отошел от него в святилище души своей: тут и начинается тревога внешняя. Масса читателей рвет на куски живое целое создания <...> миллионы точек зрения наведены на него: каждый с своих собственных подмошков <...> вытягивается, чтобы кинуть взгляд на явление, поразившее все очи. Одни безотчетно восхищаются им, другие безотчетно его порицают. Там из норы своей выползла мелкая зависть газетчика и наводит свой шаткий и темный микроскоп на немногие грамматические ошибки. <...> Но вот с другой стороны, из тесных рядов толкучего рынка литературы выскочило наглое самохвальство <...>; обрадовавшись случаю из-за похвалы таланту похвалить самого себя, оно, ставши перед произведением, <...> силится прикрыть его собою и потом показать вам, уверить вас, что точно оно вам его показало, а без того вам бы его и не увидеть”⁹¹.

Оттолкнувшись от очерченных негативных последствий произвольной критики (как хвалебной, так и ругательной), Шевырев переходит к формулированию своего *credo*: “Безмолвно возвышается произведение над выскочкой <...> и только обличает собою его крохоту и умственное бессилие. Разрываемое на куски, оно хранит в себе таинственно свое целое и живет полною жизнью, которую дал ему художник. Редко бывает нам случай

прилагать *эстетическую критику* (курсив мой. – Д.Б.) к современным произведениям русской словесности. <...> Пропустим ли мы его теперь?”⁹²

Прослеживание закономерностей взаимодействия московской журналистики и университетской науки может дать немало нового материала как для исследования истории “литературного поведения”, так и для изучения перипетий литературно-критической полемики середины прошлого столетия. По крайней мере, понятие “направление” того или иного критика или журнала может быть с учетом предложенной методики существенно конкретизировано. Как мы предполагаем, в целом ряде случаев отношение к методам академической науки — более универсальный критерий исследования критической деятельности того или иного литератора, нежели его прямые декларации. Изучая соотношение критики и университетской науки, литературовед нередко может найти общее, характерное даже в позициях журналистов, никогда в альянсе друг с другом не состоявших. И наконец — предлагаемый подход, как представляется, позволит прийти к новым выводам об основных закономерностях бытования “московского” и “петербургского” “текстов” в русской культуре XIX в.

П р и м е ч а н и я

- ¹ *Белинский В.Г.* Литературные мечтания // Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. С. 111.
- ² Журнал был возобновлен С.Е. Раичем в 1839 г., однако просуществовал немногим более года.
- ³ *Полевой Н.А.* Взгляд на некоторые журналы и газеты русские // Полевой Н.А., Полевой Кс.А. Литературная критика. Л.; 1990. С. 60.
- ⁴ Поводом для закрытия “Телеграфа” послужила резкая рецензия Н. Полевого на драму Н. Кукольника “Рука Всевышнего отечеству спасла” (1834. № 3), поставленную в январе 1834 г. и благосклонно принятую петербургской публикой и двором (см.: *Полевой Кс.* Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., [1934]. С. 316–329). “Телеграф” был закрыт после опубликования “Философического письма” П.Я. Чаадаева (см.: *Лемке М.К.* Чаадаев и Надеждин // *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. По подлинным делам Собственной Е.И.В. канцелярии. 2-е изд. СПб.: С.В. Бунин, 1909. С. 393–

- 447). Для полноты картины следует упомянуть еще о прекращении в 1832 г. на третьем номере интереснейшего журнала И.В. Киреевского "Европеец", обещавшего очень многое, но просуществовавшего лишь несколько месяцев.
- 5 Единственный получивший значительный резонанс случай "внутримосковских" литературных разногласий — сосуществование на рубеже 1840—1850-х годов "старой" (М.П. Погодин, С.П. Шевырев, М.А. Дмитриев...) и "молодой" (А.Н. Островский, Ап. Григорьев, Б.Н. Алмазов...) редакций журнала "Москвитянин" (см.: Венгеров С.А. Молодая редакция "Москвитянина" // Вестник Европы. 1886. № 2. С. 581—612; Глинский. Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина" // Ист. вестник, 1897. № 4. С. 233—261 и пр.). В данном случае, однако, речь может идти не о печатной полемике разных изданий, но именно о "раздвоении" редакции единственного влиятельного московского журнала.
 - 6 В 1808 г. "Вестник" редактировал В.А. Жуковский, уже через год снова призвавший Каченовского в соредакторы; в 1814 г. редактором журнала был В.В. Измайлов.
 - 7 *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения. 1802—1902. СПб.: Изд. Министерства народного просвещения, 1902. С. 140.
 - 8 Цит по: *Рождественский С.В.* Указ. соч. с. 140. Ср.: *Сушков Н.В.* Московский университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского благородного пансиона и дружеского общества. 2-е изд., испр. и доп. М.: В Унив. тип., 1858. Н.В. Сушков отчетливо проводит параллель между университетским пансионом в Москве и Царскосельским (с 1843 г. — Александровским) лицеем, в котором также на протяжении многих лет поощрялась литературная деятельность воспитанников. Однако столичный лицей существовал обособленно от университета (и от предшествовавшего ему организационно Главного педагогического института), не был вообще замыслен как "приготовительное" учебное заведение, после которого выпускники переходили в университет. Правда, Благородный пансион некоторое время существовал и в Петербурге, однако его образовательные задачи были совершенно иными: "С преобразованием Главного педагогического института, Благородный пансион оставался на прежнем основании, как самостоятельное учебное заведение, подчиненное университету, до 1830 г., когда он был преобразован в Первую гимназию. Преобразование петербургской гимназии в 1822 году совершенно отделило от нее пансион, составивший особое учебное заведение под именем Высшего училища. Сохраняя преимущества пансиона <...>, Высшее училище имело целью *готовить чиновников для гражданской службы*" (*Рождественский С.В.* Указ соч. С. 139—140. Курсив наш. — Д.Б.).

- 9 Так, в 1836 г., после публикации чаадаевского “Философического письма” наказанию был подвергнут не только Надеждин, сосланный в Усть-Сысольск, но и тогдашний ректор, профессор-востоковед А.В. Болдырев, цензуравший “Телескоп”. Болдырев был уволен от должности без пенсiona, более того, была закрыта и его кафедра, что привело к многолетнему пресечению московской востоковедной традиции. Только в начале 1850-х годов при декане С.П. Шевыреве кафедра восточных языков была воссоздана, ее занял ученик Болдырева адъюнкт (в будущем ординарный профессор) П.Я. Петров, прежде преподававший в Казанском университете. Это один из многих возможных примеров тесной взаимосвязи и взаимозависимости университетской науки и журналистики через “посредство” органов цензуры.
- 10 “Холерный год можно назвать переходною эпохою в жизни Московского университета. Начиная с высших властей до преподавателей, устаревшие для науки уступили свое место новым деятелям, с современными взглядами и новым направлением” (*Прозоров П.[И.]* Белинский и Московский университет в его время (из студенческих воспоминаний) // Библиотека для чтения. 1859. Т. 157. № 11–12. С. 10); “Золотым веком нашей университетской республики можно назвать 1832–1833 год” (*Гончаров И.А.* Из университетских воспоминаний // Вестник Европы. 1887. № 4. Позже данный текст под названием “В университете” составил первую часть гончаровских “Воспоминаний”, которые цитируются здесь по изд.: *Гончаров И.А.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. С. 220). Ср.: “Наше студенчество от 1834 г. по 1838 г. было настоящей эрою, которая отделяет древний период истории Московского университета от нового” (*Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М.: Изд. В. Фон-Боуля, 1897. С. 108).
- 11 История Императорского Московского, написанная ординарным профессором русской словесности и педагогики Степаном Шевыревым. 1755–1855. М.: В Унив. тип., 1855. С. 557–558. Разумеется, писанный Шевыревым процесс специализации начался на несколько лет раньше принятия университетского устава. Однако отдельные случаи “колебания ученых между разными науками” были свежи в памяти в середине 1830-х годов. Так, известный профессор И.И. Давыдов (в будущем директор воссозданного в Петербурге Педагогического института, академик) преподавал сначала в Благородном пансионе, а затем в университете русскую словесность, логику, историю философии, латинскую словесность и даже высшую алгебру.
- 12 Таким образом, скажем, составлены сохранившиеся в архиве журналы лекционных курсов Н.И. Надеждина (“Теория изящных искусств”, “История изящных искусств и археология”; см.: РО ИРЛИ. Ф. 199. Оп. 2. № 67–81, 84, 86, 86), частично опубликованные Н.К. Козминым и З.А. Ка-

- менским (см.: *Козмин Н.К.* Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804–1836 // Записки историко-филологического факультета Императорского С.-Петербургского университета. Ч. CXI. СПб. Тип. М.А. Александрова, 1912. 265–311 (лекции по археологии), 312–347 (лекции по теории изящных искусств); см. также: Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2 т. М. 1974. Т. 2. С. 459–507.
- 13 *Гончаров И.А.* Указ. соч. С. 208.
 - 14 См., например: *Аксаков К.С.* Воспоминание студентства 1832–1835 годов // *Аксаков К.С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 297; *Гончаров И.А.* Указ. соч. С. 211.
 - 15 *Надеждин Н.И.* Автобиография // *Русский вестник.* 1856. № 3. Кн. 2. С. 63. Ср.: “Преподавание шло тем же порядком, то есть импровизациею; но план самой науки я расположил по-своему, не придерживаясь никакого образца” (Там же. С. 64).
 - 16 *Прозоров П.И.* Указ. соч. С. 11. Ср.: «Красноречивый писатель-министр <...> сказал сопровождавшим его профессорам: “В первый раз вижу, чтобы человек, который так дурно пишет, мог говорить, так прекрасно!”» (*Максимович М.А.* Воспоминания о Н.И. Надеждине // *Москвитянин.* 1856. Т. 1. № 3. С. 226).
 - 17 *Аксаков К.С.* Указ. соч. С. 310–311.
 - 18 Там же. С. 298.
 - 19 *Буслаев Ф.И.* Указ. соч. С. 108.
 - 20 *Гончаров И.А.* Указ. соч. С. 207–208; ср.: Колосья. Снон первый. СПб.: В тип. СПб городской полиции, 1842. С. 16–18 (студенческие воспоминания В.С. Межевича, позже в переработанном виде опубликованные в “Московских ведомостях”, 1848 № 131. 10 окт.).
 - 21 Ср.: “Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, но и для их (так в источнике. — Д.Б.) семейств и для всего общества <...> Москва гордилась своим университетом, любила студентов” и проч. (*Гончаров И.А.* Указ. соч. С. 195).
 - 22 *Шевырев С.П.* Указ. соч. С. 408. Ср.: “Публичные лекции и диспуты при Университете поддерживали беспрерывно внимание московской публики всех сословий. Профессор [Р.Г.] Гейман в течение 18-ти лет читал техническую химию для фабрикантов, привлекая к себе слушателей из дворянства, купечества и даже крестьянства. Припомним публичные лекции популярной астрономии [Д.М.] Перевощикова, сельского хозяйства [М.Г.] Павлова <...>, красноречивые лекции истории всеобщей Грановского <...>” (Там же. С. 568–569). Подобные лекции практиковались и в Петербургском университете; так, в 1825 и 1829 гг. публичные курсы по русской словесности читал проф. Н.И. Бутырский.
 - 23 См.: *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 229. О неоднозначных мнениях по поводу данного проекта и о полемике вокруг него см.: Там же. С. 237. Любопытно, что летом

1841 г. сам Никитенко обдумывает “курс публичных лекций”, который ему “хочется открыть пынущиею зимою” (Там же. С. 236). Этому намерению не суждено было сбыться.

- 24 Нельзя не отметить, что аналогичные процессы имели место и в Петербурге, хотя со времени основания столичного университета до начала 30-х годов минуло всего лишь десятилетие, поэтому затруднительно говорить о развитой университетской традиции, о внеакадемической популярности Петербургского университета и тамошнего преподавания. Не было в Петербурге и обилия журналов, чьи издатели, авторы и редакторы непосредственно сотрудничали с университетом. Взаимодействие журналистики и науки в Петербурге 1830-х годов — тема отдельного исследования, здесь же необходимо вкратце сказать, что, несмотря на отмеченные различия, в интересующих нас подробностях научно-литературной жизни двух столиц имелись и существенные сходства.

Так, в то же время, что и в Москве (в самом начале уваровского управления министерством, в 1832 г.), на смену профессорам-“энциклопедистам” Н.И. Бутырскому и Я.В. Толмачеву, преподававшим в числе прочих дисциплины филологического цикла, явились известный литератор пушкинского круга, в будущем ректор университета П.А. Плетнев и не менее известный впоследствии педагог, литератор, цензор А.В. Никитенко. Вместе с профессором, прозаиком, фельетонистом, редактором О.И. Сенковским и автором популярных пособий по русскому языку и словесности Н.И. Гречем, не чуждым науке и педагогике (в университете, впрочем, не преподававшим), Плетнев и Никитенко составляют группу лиц, чья деятельность в “Сыне отечества”, “Библиотеке для чтения”, “Современнике” и т.д. служила связующим звеном между наукой и столичной журнальной словесностью. Несколько подробнее об этом мы скажем ниже.

- 25 См.: *Шевырев С.П.* Указ соч. С. 569.

- 26 См.: Московский телеграф. 1830. № 10. С. 333. Фрагменты диссертации Надеждина были опубликованы в “Вестнике Европы” (1830. № 1,2 — “О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии”) и в “Атенее” (1830. № 1 — “Различие между классическою и романтическою поэзиею, объясняемое из их происхождения”).

- 27 Пушкинское определение Надеждина в качестве “семинариста” (ср. в другой эниграмме: “В журнал совсем не евронейский <...> . Взошел болван-семинарист”) весьма важно и в прямом смысле слова (Надеждин — выпускник Рязанской семинарии, Московской духовной академии), и в переносном — поскольку определявшая витиеватый и усложненный стиль его статей классическая ученость, осведомленность молодого критика в тонкостях истории философии для конца годов достаточно уникальны. Начиная с 1826 г. в светских учебных заведениях философия не преподавалась, следовательно, Надеждин от своих наставников в академии (особенно от известного профессора

- философа Ф.А. Голубинского) получил те сведения, за которыми многим его современникам приходилось ехать “в чужие края”.
- 28 Общепринятый перевод псевдонима Н. Полевого страдает смысловой неполнотой, поскольку слово “Бенигна” может означать также “изобильный, добродушно-дружественный” (благодарю за уточнение Г.С. Кнабе).
- 29 Ксенофонт Полевой вспоминает, что Глинка «повторял много раз: “Дайте мне стопу белой бумаги, я подпишу ее всю по листам, как цензор; а вы пишите на ней, что хотите!” <...> Когда он был цензором “Московского телеграфа”, мы <с Н.А. Полевым> тицетно уговаривали его оставить избранную им систему, просили читать внимательно все присылаемое ему для рассмотрения» (Полевой Кс.А. Указ. соч. [1934] С. 255).
- 30 Полевой Кс.А. Указ. соч. С. 259–260. Московский цензурный комитет счел жалобу Каченовского справедливой, и только особое мнение В.В. Измайлова (в прошлом — одного из редакторов “Вестника Европы”) послужило основанием для решения столичного цензурного ведомства, в конце концов оправдавшего Глинку. См. об этих и дальнейших событиях также: Глинка С.Н. Записки. СПб.: Изд. редакции журнала “Русская старина”. 1895. С. 352.
- 31 Московский телеграф. 1829. № 7. С. 257. Ср. анонимно опубликованную в том же номере журнала эпиграмму Е.А. Баратынского, в которой пародируется наукообразное пристрастие Каченовского к странной орфографии с избыточным использованием *фиты, ижицы* и *десятеричного*:

УСТОРІЧЕСКАЯ УПІГРАММА

Хвала, масту́тый наш Зо́лъ!

Когда-то Дми́тривъ бѣ́силъ

Тебя сча́стливыми стру́нами <...>

(См.: [Баратынский Е.А.] // Там же. С. 258).

- 32 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М. 1949. Т. 11. С. 77.
- 33 Там же. С. 78. Это важнейшее пушкинское словосочетание мы не случайно выделили курсивом. В дальнейшем понятие “*литературное поведение*” будет использоваться в статье в качестве одного из опорных терминологических обозначений.
- 34 Там же. С. 79.
- 35 Там же. Пушкин цитирует здесь заявление Каченовского, опубликованное в качестве редакторского примечания к статье “Отклик с Патриарших прудов (Письмо Н. Надоумки к редактору В<естника> Европы)”: “Здесь приличным считаю объявить, что препираться с Бенигною я не имею охоты, отказавшись навсегда от бесплодной полемики; а теперь не имею на то и права, предприняв другие меры к охранению своей личности от игривого произвола всего Бенигны и всех прочих” (Вестник Европы. 1828. № 24. С. 304).

- 36 Там же. С. 80. Ср. полемику вокруг “литературной аристократии”, развернувшуюся в связи с выступлениями Пушкина и его единомышленников (в первую очередь Вяземского) в “Литературной газете”.
- 37 Высказывания Каченовского цитирует сам Полевой, см.: *Бенигна И.* Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год // Московский телеграф. 1928. Ч. XXIII. № 20. С. 491, 489–490.
- 38 “Журнальные статейки, выходки на Карамзиных, Жуковских, Буле, Калайдовичей, полдюжины диссертаций из чужих материалов, переделка статей Баузе <...>: вот все, чем устивал себе Издатель Вестника Европы дорогу” (Там же. С. 492).
- 39 [Б. Полевой]. Взгляд на некоторые журналы и газеты русские // Московский телеграф. 1831. Ч. XXXVII. № 1. С. 79–80. Ср.: “Таково общее направление века. Говорят, что оно мешает исключительно и глубоко заниматься отдельными предметами <...> Неправда! <...> И ныне географ становится географом, филолог филологом, геометр геометром, с той разницею, что в наше время сии люди освещают свой путь философиею” (Там же. С. 80–81).
- 40 Там же. С. 81–82.
- 41 Психологический механизм вечного стремления Н. Полевого к приобретению репутации ученого достаточно убедительно вскрывает С.П. Шевырев, хотя его взгляд, естественно, не лишен полемических передержек: “Полевой – шарлатан, но русский, и шарлатан в маске благородства, философии XIX столетия, учености всеобъемлющей, умеренного либерализма. В нем видны все приметы русского кунца, который дурной и старый товар продает за хороший и новый, умея искусно навесить на него лак новизны. У него оборотливость удивительная, он все сметит, подхватит, подслушивает, переймет и исковеркает. <...> В его *Истории Русского Народа* самое <...> предисловие <...> есть образец искусства купеческого в России. В книге его вы увидите, что он схватил все мнения новые: он бредит Шеллингом, Гегелем, Гердером, Гереном и Нибуром <...> и ничего не прочел порядочно. Он обманет многих в России: его шайка велика, ибо у нас более людей поверхностных, недоучившихся, а он их представитель” (Из дневника [С.П.] Шевырева. Окт. 19, Вторник [1830 г.] / Публ. проф. И.А. Линниченко по рукописи из Имп. Публичной библиотеки // Известия Одесского библиографического общества при Имп. Новороссийском университете. Т. II. Одесса: Центр. тип. С. Розенштауха и Н. Лемберга, 1913. Вып. 2. С. 53). Во многом подобные упрёки в полудзнании, бравоировании новыми научными теориями предъявлял Полевому и Пушкин. В датированном началом 1830-х годов памфлете “Детская книжка”, в котором, кроме Полевого, иронически изображены П.П. Свиньин (“Павлуша”) и Н.И. Надеждин (“Вапуша”) – во всех случаях имена

персонажей произведены от отчеств высмеиваемых литераторов, Пушкин писал: "Алена был очень не глупый мальчик, но слишком ветрен и заносчив. Он ничему не хотел порядочно научиться. Когда учитель ему за это выговаривал, то он старался оправдаться разными увертками. <...> Логика казалась ему наукою прошлого века, недостойною наших просвещенных времен, и когда учитель бранил его за *вокабулы*, Алена отвечал ему имена[ми] Шеллинга, Фихте, Кузенья, Геерена, Шлегеля и проч." (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 101.)

- 42 Полевой Кс.А. О направлениях и партиях в литературе // Московский телеграф. 1833. Ч. LI. № 12. Цит. по: Полевой Н.А., Полевой Кс.А. Литературная критика. Л., 1990. С. 466—467.
- 43 Там же. с. 467.
- 44 Точности ради напомним, что С.С. Уваров был возведен в графское достоинство только в 1846 г.
- 45 Шевырев С.П. Указ. соч. С. 509.
- 46 Гончаров И.А. Указ соч. С. 207.
- 47 Там же. С. 207; ср.: "Здесь преподается теория искусства (И.И. Давыдов читал в то время лекции *о Теории поэзии*. — Д.Б.), а я привез вам само искусство, — сказал достопочтенный сановник" ([Межевич В.С.] Указ. соч. // Колосья. Сноп первый. СПб.: В тип. СПб. городской полиции, 1842. С. 17); ср. также позднейшие впечатления А.Н. Майкова, почерпнутые из рассказов И.А. Гончарова: "Уваров привез на лекцию <...> Пушкина. Вот, господа, сказал он студентам, указывая на Каченовского, — вот перед вами наука, а вот, — указывая на Пушкина, — само искусство!" (Майков А.Н. Слово о полку Игореве (Несколько замечаний об этом памятнике) // Полн. собр. соч.: В 4 т. 7-е изд. СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1901. С. 504; первая публикация — в качестве сопроводительной статьи к майковскому переводу "Слова..." — в журнале "Заря", 1870. № 1. С. 81—106).
- 48 Письмо Н.Н. Пушкиной, 27 сентября 1832 г. // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 15. С. 32.
- 49 Можно привести немало примеров раздраженного отношения поэта к университетской учености в самом начале 1830-х годов, до приглашения Уварова: "Жалею, что Вы не разделились еще с Московским университетом, который должен рано или поздно извергнуть Вас из среды своей, ибо ничего чуждого не может оставаться ни в каком теле. А ученость, деятельность и ум чужды Московскому университету" (Письмо М.П. Погодину. Конец (27 -30) июня 1831 г. Царское село // Там же М., 1941. Т. 14. С. 185).
- 50 Межевич В.С. Указ. соч. С. 17—18.
- 51 Гончаров И.А. Указ. соч. С. 207.
- 52 Там же. С. 208.
- 53 Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартевым в 1851—1860 годах // Вступ. ст. и примеч. М. Цявлов-

- ского. М., 1925. С. 49 – 50. Известен эпистолярный вариант этого устного рассказа – см. опубликованное В.В. Даниловым письмо О.М. Бодянского его давнему другу, московскому студенту, затем ординарному профессору, первому ректору университета Св. Владимира в Киеве М.А. Максимовичу от 12 декабря 1870 г. (*Данилів В.В.* О.М. Бодянський і його листування з М.О. Максимовичем // Україна. 1927. № 6. Стор. 97). Это письмо содержит ответ на вопрос, заданный Бодянскому Максимовичем через 48 лет после описываемых событий: действительно ли был в университете спор Каченовского с Пушкиным, изображенный в сопроводительной статье Майкова к его переводу “Слова” (см. примеч. 45). Письмо Максимовича Бодянскому из Киева от 7 декабря 1870 г. также опубликовано, см.: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. [М.], 1887. Кн. 1. С. 175 (третья пагинация).
- 54 Письмо Н.Н. Пушкиной около (не позже) 30 сентября 1832 г. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 33.
- 55 Драма Погодина “Марфа Посадница Новгородская” была напечатана в 1830 г., однако продажа книги была разрешена только год спустя. Отрицательная рецензия на “Марфу...” была опубликована в еженедельнике “Сын Отечества” (1832. № 20).
- 56 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 27.
- 57 Там же. Т. 14. С. 185.
- 58 *Пушкин А.С.* <Альманашик> // Полн. собр. соч. Т. 11. С. 133.
- 59 Ср., например, письмо А.Х. Бенкендорфу от 21 июля 1831 г.: “С радостью взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала* <...> Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание Историкографа после незабвенного Карамзина; помогу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого <...>” (*Пушкин А.С.* Собр. соч. Т. 14. С. 256).
- 60 Там же. Т. 11. С. 247 – 248.
- 61 *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1978. Т. 6. С. 172.
- 62 Имп. Санктпетербургский университет в течение первых лет его существования. Историческая записка, составленная по поручению совета Университета ординарным профессором по кафедре истории Востока В.В. Григорьевым. СПб.: В тип. В. Безобразова и комп., 1870. С. 67 – 68.
- 63 Речь идет о 1830 г.
- 64 *Фортуатов Ф.* [И.] Воспоминания о С-Петербургском университете за 1830 – 1833 годы (писано в ноябре 1868 г.) // Русский архив. 1869. № 2. Стб. 329 – 330.
- 65 *Плетнев П.А.* Первое двадцатипятилетие Санктпетербургского университета. СПб.: В тип. Военно-учебных заведений, 1844. С. 54 – 55.

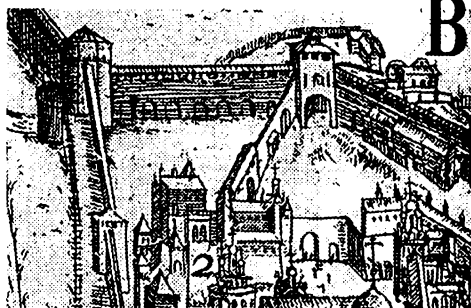
- 66 Впрочем, в Москве университетское преподавание обращено лицом к современности не только собственно литературной — достаточно напомнить о шеллингианских курсах М.Г. Павлова по агрономии или о публичных лекциях Р.Г. Геймана по технической химии!
- 67 Ср. фрагмент из “Литературных и житейских воспоминаний” И.С. Тургенева: “Я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы <...> — фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием “Стенио” (ставший традиционным вариант названия — “Стено”. — Д.Б.). В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно цельное произведение” (*Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М., Т. 11. Наука. 1983. Т. 11. С. 11*).
- 68 “Во вступлении к истории литературы у него заключалось решение вопросов: 1) что должна содержать история литературы; 2) в каком отношении история литературы относится (так в источнике. — Д.Б.) к истории политической; 3) как надобно в истории литературы определять эпохи и изображать периоды; 4) какому выбору должно подвергать все материалы из истории литературы. На этих вступительных лекциях Плетнева видно влияние Фридриха Шлегеля, которого *История древней и новой литературы* в переводе на русский язык вышла у нас в свет в 1830 году.” (*Фортуатов Ф.И. Указ. соч. Ст. 332*).
- 69 *Каминский В.А.* Плетнев как критик и публицист // *Русская старина. 1906. Т. 128. № 11. С. 248.* Ср.: “По самым свойствам своего критического таланта Плетнев был создан, главным образом, тонко чувствовать и оценивать в поэзии отдельные поэтические блестящие и красоты стиля, мог также иногда дать верную характеристику писателя, но был совершенно лишен дара критической прозорливости и умения определять место и значение того или иного начинающего писателя в литературе. Читая критические статьи Плетнева, чувствуешь в нем истинного знатока и ценителя именно частных, отдельных стихотворений и отдельных мест, но не настоящего литературного критика” (*Шенрок В.И. Профессор-словесник старого времени // Под знаменем науки: Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженька. М.: Типо-лит. А.В. Васильева, 1902. С. 556*); ср. также мнение И.С. Тургенева: «Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил “свой предмет”, обладал несколько робким но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты” (*Тургенев И.С. Указ. соч. С. 17*).
- 70 *Плетнев П.А.* Первое двадцатипятилетие Санктпетербургского университета. С. 80.
- 71 От: *Никитенко А.В.* Опыт истории русской литературы. Кн. 1. Введение. СПб.: Франц. типогр., 1845 до: *Никитенко А.В.* Мысли о реализме в литературе. СПб.: Печатня В.И. Головина, 1872.

- 72 Речь о необходимости теоретического или философского исследования литературы, произнесенная в торжественном собрании Имп. С. Петербургского университета 8 октября 1836 года экстраординарным профессором Александром Никитенко. СПб.: Тип. Имп. кад. Наук, 1837 (см. также публикацию в “Журнале министерства народного просвещения”. 1837. № 3. Отд. II. С. 524—548); Речь о критике, произнесенная в торжественном собрании Имп. С. Петербургского университета Марта 25 дня 1842 года экстраординарным профессором А. Никитенко. СПб.: Б.И., 1842. На вторую “Речь...” Никитенко обширной статьей откликнулся Белинский (см.: [Белинский В.Г.] Речь о критике... А. Никитенко // Отечественные записки. 1842. Т. XXIV, № 9—10; Т. XXV, № 11).
- 73 Вот характерное эпистолярное высказывание его обычно сдержанного коллеги Плетнева по поводу второй “Речи о критике”: “По приезде министра с попечителем, первый на кафедру возшел Никитенко и прочел статью о критике. Слог его, год от году, становится все фигурнее и трагичнее. Признаюсь, невыносимо. Публика утомилась” (Плетнев П.А. Письмо Я.К. Гроту от 27 марта 1842. СПб. // Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: В 3 т. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1896. Т. 1. С. 509—510).
- 74 Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 235.
- 75 М...З...К... [Самарин Ю.Ф.] О мнениях “Современника” исторических и литературных // Москвитини. 1847. Ч. 2. Критика. С. 174.
- 76 Ср.: “Профессор Сенковский отличный ориенталист, но, должно быть, плохой человек. <...> Его упрекают в подобострастии с высшими и в грубости с низшими, он не любим ни товарищами, ни студентами, ибо пользуется всяким случаем сделать неприятное первым и вред последним” (Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. С. 44).
- 77 Каверин В. Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора “Библиотеки для чтения”. Л., 1929. С. 37.
- 78 Об обращении Белинского к попечителю Московского учебного округа С.Г. Строганову с просьбой о передаче рукописи книги на рецензию университетским лингвистам см.: Полевой Кс.А. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л.: [1934]. С. 340—343.
- 79 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 443.
- 80 Там же.
- 81 Там же.
- 82 Там же.
- 83 Там же.
- 84 Выбор текстов (Плетнев, Сенковский, Шевырев) в данном случае достаточно произволен, хотя наш тезис легко можно было продемонстрировать и на материале более известных статей Белинского или К. Аксакова. Нам важно показать, что принципи-

альные, связанные с отношением к теории различия в “поэтике” литературно-критические высказывания в данном случае не менее (если не более) существенны, чем конкретные разногласия по поводу тех или иных особенностей разбираемого текста.

- 85 С.Ш. [Плетнев П.А.] Чичиков, или Мертвые души Гоголя // Современник. 1842. Т. XXVII. С. 20.
- 86 Там же. С. 23.
- 87 См.: Сенковский О.И. <Рукописная редакция статьи о “Мертвых душах”> / Примеч. Н.И. Мордовченко // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования / Под ред. В.В. Гинзбурга. М.; Л., 1936. С. 226–242 [Литературный архив. Т. 1].
- 88 Отметим, что само библиографическое описание (!) рецензируемой книги в первоначальном варианте текста носило пародийный характер: “Тысяча одна ночь. Арабские сказки. Санкт-Петербург, в тип. III Отделения собственной с.и.в. канцелярии и Гутенберговой, 1838–1842, В 12 <-ю долю листа>. Десять частей, стр. в 200 каждая” // Там же. С. 227–228
- 89 См.: [Сенковский О.И.] Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Москва, в тип. Университетской, 1842. в 8<-ю долю>. Том первый, стр. 475 // Библиотека для чтения. 1842. Т. LIII. № 8. Отд. VI. Литературная летопись. С. 24–54.
- 90 Непознанный Шевыревым, но очевидным образом имевшийся в виду миф о рождении Афины из головы Зевса – весьма точная характеристика теоретических позиций критика. *Рождение произведения* – акт произвольный (примерно то же, напомним, говорил в своей рецензии Плетнев), однако из этого вовсе не следует произвольность и неподчиненность общим законам последующих *истолкований* книги. Отметим также связь представлений о “рождении” произведения искусства со сложившейся к концу 1840-х годов концепцией “органической критики” Ан. Григорьева. Следует при этом учесть, что позиция Григорьева явилась своего рода итогом развития “московской” критики, ибо представляла собой *теоретическую* попытку поставить *под сомнение* возможность какого бы то ни было *теоретизма* в литературной критике (ср. полемику Григорьева с “исторической” и “эстетической” критическими школами).
- 91 Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. поэма Н. Гоголя. Москва. В Унив. типогр. 1842. в 8-ку. – 476 стран. Статья первая // Москвитянин. 1842. Ч. IV. № 7. критика. С. 207.
- 92 Там же. С. 207–208.

Москва в творческом сознании Гоголя (Штрихи к теме)



В молодые годы Гоголя Москва, кажется, не занимала сколько-нибудь заметного места в его сознании. Ее, Москву, решительно потеснил и отодвинул на второй план Петербург. Петербург как символ русской государственности. Петербург как средоточие сил и лиц, решающих судьбу страны. Петербург как плацдарм для служебной карьеры, продвижения по чиновничьей лестнице, вплоть до самых высших степеней. То, что будет сказано потом о Тентетникове во втором томе “Мертвых душ”, вполне применимо и к их автору: “...По обычаю всех честолюбцев, понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь — служить, блистать, выслуживаться...”¹.

Показателен выбор дороги, который сделал Гоголь, направляясь по окончании нежинской Гимназии высших наук в новую столицу (все это рассказано гоголевским биографом явно со слов А.С. Данилевского, сопровож-

давшего будущего писателя): “Дорога лежала на Москву, но Гоголь ни за что не хотел проезжать через нее, чтобы не испортить впечатления первой торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому они поехали по белорусской дороге...”².

Однако встреча с Петербургом, как известно, сильно разочаровала Гоголя. Уже через четыре с небольшим месяца после приезда он рисует картину в высшей степени безотрадную; в существовавшем в общественном сознании образе Петербурга³ он концентрируется преимущественно на одной грани, а именно той, которая характеризуется “принципом регулярности”, порядка, правильности, переосмысляя все эти качества в негативном свете. Правильность и дисциплина оборачиваются безжизненностью, ординарностью, утомительным однообразием, холодностью, бесхарактерностью (“...на Петербурге... нет никакого характера”), наконец, людской разъединенностью и формальностью отношений (“...все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях...” — Х. С. 139). Петербург Гоголь противопоставляет другим столицам (в том числе и Москве), в которых он еще не бывал (“... Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву”. — Там же). Значит ли это, что Москва представляется ему по контрасту обладательницей тех достоинств, которых лишен Петербург? Едва ли: образ старой столицы был для него еще достаточно абстрактен и не близок.

Гоголь впервые приехал в Москву около 27 июня 1832 г., уже будучи литературной знаменитостью, автором “Вечеров на хуторе близ Диканьки”⁴. Он познакомился с М.П. Погодиным, побывал у Аксаковых в Большом Афанасьевском переулке, у М.Н. Загоскина в Денежном переулке, у М.С. Щепкина в Большом Каретном переулке, у И.И. Дмитриева на Спиридоновке... Гоголь направлялся на родину, в Васильевку, и на обратном пути, в конце октября, вновь побывал в Москве. К прежним знакомствам прибавились новые — с М.А. Максимовичем, Е.А. Баратынским, О.М. Бодянским⁵.

Несмотря на плохое самочувствие (особенно в первые дни пребывания в Москве), Гоголь был доволен своей поездкой. Наблюдая за возвратившимся в Петербург Гоголем и передавая его впечатления, П.А. Плетнев 8 декабря 1832 г. писал В.А. Жуковскому: “...Тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться

Погодиным, Киреевским и прочими”⁶. Конечно, Гоголь не остался безучастен к московскому гостеприимству и хлебосошеству, воспринимаемым им на фоне петербургской сдержанности и холодности. Но дело не только в этом: Гоголь очень нуждался в признании московской литературной общественности, в признании Москвы, — и это признание он получил.

В сравнении с новой столицей Москва имела более основательную литературную и научную репутацию. “Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской”⁷, — писал А.С. Пушкин в статье “Путешествие из Москвы в Петербург” (1833—1835). Статья была опубликована много позже и, видимо, осталась неизвестной Гоголю, но мнение, выраженное в ней, он, как мы увидим, вполне разделял, возможно, оба писателя вели и беседы на эти темы.

Репутация Москвы, кроме того, была менее официальной, даже в какой-то мере антиофициальной, следовательно, более стихийной, спонтанной, неуправляемой, народной. Признание Гоголя Москвой означало закрепление за ним титула русского национального писателя. Гоголь не мог не сознавать этого. Не меньше Гоголя сознавали это и привечавшие его москвичи: можно даже сказать, что они гордились своим признанием автора “Вечеров на хуторе...”, требуя от последнего благодарности и полной взаимности⁸.

В самом деле с этих пор в гоголевских письмах к москвичам звучали теплые, сердечные ноты. Едва возвратившись в Петербург, Гоголь 25 ноября 1832 г. просит Погодина передать “поклон Киреевскому, Аксакову и всем *нашим москвичам*” (X, С. 247; курсив в цитатах везде мой. — Ю.М.). В начале следующего года (10 января) Гоголь жалуется Погодину: “Вся Москва, кажется, забыла меня. Тогда как ее беспрестанно вижу в мыслях своих. Бога ради, не забудьте меня...” (Там же. С. 254). И в письме от 8 мая 1833 г. тому же Погодину, с которым он уже перешел на “ты”, Гоголь спрашивает: “Что делают *наши москвичи*?” (Там же. С. 269).

Впрочем, это не мешало Гоголю время от времени запускать москвичам шпильки. 11 января 1834 г. он в шутливой манере отказывает Москве в народности: “Ведь в столице нашей чухонство, в вашей купечество, а Русь только среди Руси” (Там же.

С. 293–294). Гоголь не останавливается и перед крепкими выражениями; подбивая Максимовича ехать в Киев для преподавания в тамошнем университете, Гоголь призывает его (12 марта 1834 г.) оставить “эту старую толстую бабу Москву, от которой, кроме щей да матерщины, ничего не услышишь” (Там же. С. 301).

Вообще Москва в это время не рисуется воображению Гоголя как желанное место проживания. Если у него и возникает своеобразный *locus amoenus*, то это скорее Киев, а не Москва, что связано еще и с мечтой получить кафедру всеобщей истории в тамошнем университете. “Где означу я тебя великими трудами? – обращается он к наступающему 1834 году, – <...> В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Кисве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным прекрасным, чудным небом, упонтельными ночами...” и т.д. (IX, С. 17).

Интересен также следующий факт. В 1835 г. в “Арабесках” Гоголь печатает статью “Об архитектуре нынешнего времени”. Датирует он ее 1831 г., т.е. временем, когда он еще не побывал в Москве; но, конечно, в основном написал он статью или во всяком случае редактировал позже, перед составлением сборника. Тем не менее московские реалии никак не отразились в статье. Гоголь дает широчайшую панораму мировой архитектуры, от древнеегипетской до восточной, прославляет западноевропейскую готику как наиболее соответствующую духу христианства, критикует стиль новых российских городов, метя прежде всего в Петербург: “Прочь этот схоластизм, предписывающий строению ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам” (VIII. С. 71). Тут невольно напрашивается сравнение с Москвой, но Гоголь его не проводит, во всяком случае не выговаривает.

Нужно учесть, что к этому времени московский пейзаж, или, как сегодня сказали бы, хронотоп, был уже прочно освоен литературой. В теплом поэтическом свете выступали “храмы и сады” “златоглавой Москвы”, “белокаменной Москвы” – Кремль, Петровский замок, Симонов монастырь и т.д. Многое из этого было хорошо знакомо Гоголю-читателю, скажем, из 7-й главы “Евгения Онегина” (опубликована в 1830 г.) или из повести Погодина “Сокольницкий сад” (Московский вестник, 1829). Теперь, после 1832 г., у Гоголя были и собственный опыт, и соб-

ственные впечатления, но, кажется, он не придавал им большого значения.

Московская тема оживилась в сознании Гоголя в связи с намерением литераторов-москвичей основать новый журнал. Как и Пушкину, ему по душе серьезность и основательность “московского журнализма”; об этом Гоголь писал С.Т. Шевыреву еще по поводу “Московского вестника” (1827 - 1830 гг.). Ценил он и бескорыстие, честность, отсутствие меркантильности и корыстной расчетливости, привычно связываемых с журналистикой петербургской. Гоголь даже подхватывает и преломляет в литературную плоскость модную символику Москвы как спасительницы отечества и хранительницы национального духа: “Москве предстоит старая ее обязанность спасти нас от нашествия иноплемennых языков” (из того же письма к Шевыреву от 10 марта 1835 г. — Х. С. 355).

Но настораживает московская разболтанность, необязательность, недисциплинированность. Гоголь прекрасно понимает, что с такими качествами успеха на журнальном поприще не добьешься; к тому же у него, привыкшего за первые петербургские годы к упорному труду, есть и моральное право укорять москвичей: “Пожалуйста, работайте не так, как вы всегда работаете. Что за лентяи эти москвичи! Ни дать, ни взять, как наши малороссияне” (Погодину, 2 ноября 1834 г. — Там же. С. 342). И еще резче (тому же адресату, 20 февраля 1835 г.): “Мерзавцы вы все московские литераторы. С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! Затеяли журнал, и никто не хочет работать! <...> Страш, страш, страш! Вы посмотрите, как петербургские обделывают свои дела. <...> Но ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, в среду, четверг и другие дни. Если вас и дело общее не может подвинуть, всех устремить и связать в одно, то какой в вас прок, что у вас может быть?” И Гоголь готов взять назад свои слова о национальной, объединительной роли Москвы: “Я сомневаюсь, было ли в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 есть событие вовсе не национальное и что Москва невинна в нем” (Там же. С. 353).

* * *

Вторично Гоголь побывал в Москве в первой половине мая 1835 г., направляясь, как и в первый раз, из Петербурга на Украину, в родные края (он остановился в Москве и на обратном пути в конце августа). Гоголь упрочил свои прежние связи, прежде всего с семьей С.Т. Аксакова (в первый его приезд отношения были несколько натянутыми; к концу же второго визита напряжение, по словам Сергея Тимофеевича, сгладилось⁹), познакомился с новыми лицами, например с другом Пушкина П.В. Нащокиным, с критиком и историком литературы А.Д. Галаховым. Виделся Гоголь и с В.Г. Белинским, хотя сближения между ними не произошло.

Стоит напомнить, что Гоголь приехал в старую столицу после выхода следующих своих сборников, “Арабесок” и “Миргород”, как бы отчитываясь перед москвичами новыми своими достижениями, и москвичи встретили его соответственно — сердечно, с воодушевлением и восторгом. И все же Гоголь в этот раз почувствовал, что далеко не все из близких к нему способны воспринять и оценить специфику и глубину его комической манеры. Это особенно проявилось во время авторского чтения “Женехов” (будущей “Женитьбы”) 4 мая в доме Погодина на Девичьем поле: все искренне смеялись, “...но, увы (говорит С.Т. Аксаков), комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс...”¹⁰

Обострилась в сознании Гоголя и тема “московского журнализма”: незадолго до его приезда вышел первый номер “Московского наблюдателя”. Гоголь не только познакомился с давно ожидаемым детищем, но и мог воочию видеть, как работают редакторы-москвичи¹¹. Результаты наблюдений отразились в написанной позднее для пушкинского “Современника” (1836, т. 1) статье “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году”.

В общем Гоголь продолжил ту критику, которую вел еще в цитированных выше письмах Погодину, расширив ее “московский” или, точнее, “московско-петербургский” контекст. Столичная “Библиотека для чтения” поверхностна, недобросовестна, криклива, но деловитости и аккуратности ей не занимать. А московские издания? Похвалы, хотя и беглой, удостоился закрытый в 1834 г. “Московский телеграф” — именно за делови-

тость, за “постоянное действие”; при этом надо учесть, что его издатель Н.А. Полевой — “купец”, с деловой и коммерческой жилкой (а в скором времени, с конца 1837 г., еще и петербуржец). Не то — типичные москвичи. “Телескоп” Н.И. Надеждина (литератор, с которым Гоголь был хорошо знаком) — “журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший <...>. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь” (VIII. С. 164). Верх же небрежения — все тот же “Московский наблюдатель”: журнал “стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем, как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания” (Там же. С. 168).

Помимо упрека в бездействии, Гоголь делает и другие, более существенные. Они относятся к программной статье С.П. Шевырева “Словесность и торговля” (1835, март, кн. 1), призванной, по мысли автора, обличить тлетворное влияние на литературу денег и коммерции. Но, как считает Гоголь, “сни нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились”. Должно было рассуждать “касательно внутренней ценности товара”, “а не пересчитывать их (издателей и авторов. — Ю.М.) барыши” (там же. С. 168, 169). В связи с этим Гоголь защищает от Шевырева петербургского издателя и книгопродавца А.Ф. Смирдина, который “за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность”.

Все это уже были упреки содержательного характера — в непонимании современной ситуации, романтическом максимализме, даже архаизме мироощущения и поведения. Не случайно, кстати, статья появилась без подписи Гоголя, желавшего скрыть свое авторство, в частности, и от близких к нему москвичей¹².

* * *

Между тем весной 1836 г. москвичи вновь ждали Гоголя: он должен был приехать для содействия в постановке “Ревизора” на московской сцене (петербургская премьера состоялась 19 ап-

реля). Писатель твердо обещал быть в Москве “если не в апреле, то в мае” (XI. С. 35), но вскоре объявил, что едет за границу. Не помогли настойчивые “зазывы” москвичей, в том числе С.Т. Аксакова. Гоголь благодарил за “участие”, выражал удовлетворение, что в Москве “скрывается тесный кружок избранных”, понимающих его как писателя, но своего решения не отменил и буквально через несколько дней после московской премьеры, состоявшейся 25 мая, уехал за границу. Кстати, и Пушкин подал свой голос в пользу москвичей: в письме от 6 мая из Москвы он просил жену: “Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться <...>. С моей стороны я то же ему советую: не надобно, чтобы Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге”¹³. Наталья Николаевна скорее всего выполнила эту просьбу, но пушкинский совет на Гоголя также не подействовал.

Аксаков, приведя гоголевское письмо к нему с отказом приехать в Москву, заметил: “Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, называвшимися его друзьями!”¹⁴ Фраза относительно “неполного понимания” продиктована уже более поздним опытом Аксакова и других, когда они осознали всю глубину и “необъяснимые странности” гоголевской психики. Весной и в начале лета 1836 г. они еще этого не сознавали, винить в подоплеку гоголевского душевного кризиса (впрочем, не первого и не последнего) не хотели. В поступке писателя им виделся скорее каприз, недостаточное уважение к старой столице и, увы, проявление неблагодарности.

Чтобы несколько загладить неловкость создавшегося положения, Гоголь в том же самом письме к Аксакову обещал “...по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней” (там же. С. 43). Трудно сказать, было ли это действительно желанием или данью приличию.

* * *

Вскоре после отъезда Гоголя в пушкинском “Современнике” (1837, т. 6) появились его “Петербургские записки 1836 года”, содержавшие общий, итоговый взгляд на Москву. Первая часть

статьи, посвященная сопоставлению обеих столиц, была набросана в феврале — марте 1836 г., хотя завершена — в составе целого произведения — несколько позже, уже за границей.

Параллель “Петербург — Москва” в русской литературе нова; хронологически ближайшие к Гоголю примеры: глава “Москва” из пушкинского “Путешествия из Москвы в Петербург” (датируемая 1835 г. и, вероятнее всего, как мы уже сказали, оставшаяся неизвестной Гоголю), затем — пассажи из повести А.А. Бестужева-Марлинского «Фрегат “Надежда”» (1833), из романа Ф.В. Булгарина “Иван Выжигин” (1829) и т. д. Текст Гоголя характерен прежде всего тем, что он исполнен лукавства, недосказанности, проники, которые свойственны его развернутым сравнениям вообще; интерпретировать эти две-три страницы непросто, все определенные, как сегодня говорят, однозначные оценки некорректны.

Первоначально складывается впечатление, что параллель всецело выдержана в пользу Москвы. “Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия”. С одной стороны, город, который плоть от плоти страны и народа. С другой — этакий город-народец, город-паразит.

К этому прибавляется несоответствие новой столицы требованиям современности, научным, литературным и т. д. — опять-таки в противоположность Москве. “В Москве журналы идут наравне с веком <...> В Петербурге журналы нейдут наравне с веком...” (VIII. С. 178).

За всеми этими достоинствами старой столицы — глубокая и богатая мифологическая почва. Ее главная идея — органичность развития, противоположного всему искусственному, неорганическому. Естественно возникший город — воплощение женского начала, со всеми вытекающими отсюда ассоциациями сексуального характера¹⁵. Ходовое и традиционное представление о “Москве-матушке” прекрасно отражает мифологему “города-женщины”, “города-девы”, “города-невесты”; так что в распоряжении Гоголя оказался выигрышный и выразительный материал, которым он виртуозно воспользовался: Москва — “матушка”, “старая домоседка”, кладь невест; словом, “Москва женского рода, Петербург мужского”. Ко всему этому добавляются знаки обилия, широты, радушного и ничем не сдерживаемого гостеприимства, “пиршественного максимализма”, как сказал бы М.М. Бах-

тии, всего того, что связано с плодоносящими и животворящими силами.

Однако здесь и начинаются собственно гоголевские усложнения параллели. У достоинств Москвы и, соответственно, пороков Петербурга есть и обратная сторона. Москва не только родственная, дружелюбная и хлебосольная. Она еще неопрятная, “нечесанная”, распушенная и т.д. А Петербург — “шеголь”, “ему есть куда поглядеться”: Нева, Финский залив и т. д. Широта и раскованность Москвы граничат с расхлябанностью, а педантизм Петербурга оборачивается самодисциплиной. “Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымается с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день как ни в чем ни бывал в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствии” (VIII. С. 178 – 179). Собственно, о другой, теневой стороне Москвы мы уже знаем из более ранних гоголевских высказываний, но теперь они обобщены и как бы сведены в одну точку. Само однообразие и регулятивность Петербурга, которые так больно ранили Гоголя в первые недели его пребывания в столице, теперь видятся ему в другом, чуть ли не в пушкинском свете: “Как сдвинулся, как вытянулся в одну струнку шеголь Петербург” (ср. фразу об “однообразной красивости” из вступления к “Медному всаднику”).

Еще одну дополнительную краску придает гоголевскому сопоставлению фактор зимы, холода, Севера. Петербург — северная столица и как таковая, по распространенному мнению, выступает у Гоголя в сугубо негативном свете: это воплощение “вечной зимы”, “ледяного ада”, в свою очередь идентифицируемого с “царством дьявола”¹⁶. Но это только одна сторона — есть и другая.

Тут надо сказать, что гоголевская трактовка “вечной зимы” попадает в словесное поле оппозиции Севера и Юга, в которой каждый из полюсов заключает в себе сложный и переменчивый смысл. Юг — не только воплощение достоинств, как Север — не только носитель зла. В системе воззрений, восходящей к “теории климата” Монтескье, русские относятся к “северным народам”, отличающимся мужественностью, стойкостью, волей к победе, — в противоположность “южным народам”, с их женской изнеженностью и слабостью¹⁷.

В России усилению позитивных моментов образа зимы содействовала “гроза двенадцатого года”, в которой холоду и зиме

выпала функция испытания, выдержанного одной стороной и проигранного другой. Именно в такой роли воспевал зиму Н.М. Языков в послании "Денису Васильевичу Давыдову" (1835), А.А. Дельвиг — в стихотворении "Дщерь хладна льда! Богиня разрушенья..." (1812 или 1813) и т. д. Первое стихотворение Пушкин прочитал, по свидетельству Гоголя, в его присутствии — и не мог удержаться от слез... (см. VIII. С. 388). Зима ассоциируется с душевным и физическим здоровьем, отвагой, крестьянской удалью, красотой девичьих лиц — все эти мотивы пронизывают поэзию Пушкина ("Зимнее утро", 1829; "Зима. Что делать нам в деревне?..", 1829; строки о зиме в "Евгении Онегине" и во вступлении к "Медному всаднику" и т. д.), впрочем, наряду с "северными" красками другого рода ("Но вреден север для меня..."), что только показывает сложность и многозначность оппозиции Север — Юг.

Москва, конечно, не есть воплощение южного начала, но Петербург (мы возвращаемся к гоголевской антитезе) вполне репрезентативен для Севера. "...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холоду: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. <...> У ней слюна катится поглядеть на белых медведей" (Там же. С. 177). Нет, Север здесь вовсе не однозначителен (как говорили в старину) со смертью, безжизненностью, бесхарактерностью и т. д. — скорее с удалью и неизбывным упрямством. Парадоксальное, чисто гоголевское соединение противоположностей: нерусский город Петербург (в отличие от исконно национальной Москвы) оказывается воплощением русской удалы (а Москва — русской лени)...

И в этом свете гоголевская оппозиция Москва — Петербург приобретает дополнительный и неожиданный смысл. «"Экой востроногой какой!" — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону». В отношениях старой столицы к новой есть что-то от отношения матери к сыну, непокорному, отбившемуся от рук, но все-таки единокровному: "На семьсот верст убежать от матушки!" И вообще эти отношения не только контрастны, они отчасти строятся по принципу дополнительности ("В Москве все невесты, в Петербурге все женихи"), когда одно не может существовать без другого¹⁸.

Стоит вспомнить, что все это писалось накануне оформления славянофильской концепции и Москвы и соотношения ее с Петербургом. Москва — “святое имя”, она “древней славою полна”; Петербург же — “столица с именем чужим”, — скажет К.С. Аксаков в стихотворении “Москве” (1845). Интересно, что эпиграфом к своему стихотворению поэт избрал знакомые нам строки из “Петербургских записок”: “Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия”, но у Гоголя, как мы видели, содержание и смысл параллели этой формулой никак не исчерпывается¹⁹.

* * *

На рубеже 30 — 40-х годов Гоголь дважды останавливался в Москве: с 26 сентября 1839 г. по 18 мая 1840 г. (за вычетом почти двухмесячного пребывания в Петербурге в конце 1839 г.) и с середины октября 1841 г. по 23 мая 1842 г. Оставляя в стороне все перипетии московской жизни писателя, остановимся лишь на тех обстоятельствах и подробностях, которые проясняют его отношение к старой столице.

При отъезде за границу Гоголь (как уже говорилось) обещал С.Т. Аксакову обосноваться в Москве (такое же обещание в письмах к М.С. Щепкину и М.П. Погодину — м. XI. С. 40, 45). Обещает он москвичам и первыми познакомить их “со своею новою пнесою”, т. е. с “Мертвыми душами”.

Гоголь благодарен Москве за то, что она “больше расположена” к нему; но одновременно задавал вопрос, отчего это происходит. “Не оттого ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня...” (Там же. С. 46). Это звучит еле скрытой угрозой, впрочем так и не осуществленной: “портрета” Москвы (как, скажем, “портрета” столицы в “петербургских повестях”) Гоголь не нарисует, хотя будет по-прежнему высказывать ей и неприятные слова...

С.Т. Аксаков специально обращает внимание на то, “что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей”: “Константин, прочитавши записку прежде всех (сообщение Щепкина, что Гоголь приехал. — Ю. М.), поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой (дочерью Сергея Тимофеевича. — Ю.М.) сделалось даже дурно”²⁰. Детали колоритные в характеристике атмосферы вокруг Гоголя.

Гоголь ценит такое отношение, по крайней мере осознает его. Своих сестер, Анну и Лизу, только что выпущенных из петербургского Патриотического института, он решает поселить в Москве: "...Там у меня есть многие приятели и друзья, которые доказали мне на деле истинную приязнь и дружбу; люди с большим умом и образованием..." (Там же. С. 209) — таким образом воспитание сестер, по плану Гоголя, будет продолжено.

Но и у друзей Гоголя была своя цель — продолжить образование писателя в духе складывающейся славянофильской доктрины, а это значит и в духе правильного понимания Москвы. Из воспоминаний Сергея Тимофеевича и свидетельств самого Гоголя известно, что Константин Аксаков вел с ним долгие беседы на этот счет; о содержании же бесед можно судить по статье К. Аксакова "О некоторых современных собственно литературных вопросах", датируемой 1839 г. Здесь, с опорой на категории гегелевской философии, развивается противопоставление Москвы и Петербурга: новая столица представляет "внешнюю" жизнь, старая — жизнь "внутреннюю"; петербургские литераторы — "дети гниения", московские — хранители "вечного источника жизни для России". "Москва! Вечная! О, как несносно мне слышать, когда называют тебя старушкою, седую, дряхлою, тебя, вечно юная, вечно полная жизни, могучая силою духа Москва!"²¹ Среди тех, кто называл Москву "старушкою", был, между прочим, А.С. Пушкин ("...затен старушки Москвы").

С.Т. Аксаков считал, что "пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все значение, весь смысл русского народа"²², — все это оказало воздействие на автора "Мертвых душ". До некоторой степени это утверждение оправданное — оно подтверждается признаниями самого Гоголя.

В письме от 28 декабря (н. ст.) 1840 г. к С.Т. Аксакову Гоголь говорит о том, как много он "приобрел в теперешний приезд <...> в Москву", и с благодарностью вспоминает "об этом юноше, так полном сил и всякой благодати", т. е. о Константине (Там же. С. 323). Самому Константину Сергеевичу Гоголь многозначительно замечает, что письмо его "сильно кипит русским чувством и пахнет от него Москвою..." (Там же. С. 324). И вновь Аксакову-старшему, 5 марта (ст. ст.) 1841 г.: "Теперь

я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди" (Там же. С. 331).

И все же вывод Сергея Тимофеевича слишком прямолинеен, всех оттенков взаимоотношений и скрытого потока гоголевских чувств он не передает. В том же самом письме, в котором говорится о "русском" настрое Константина, Гоголь просит последнего "слушаться" и его, Гоголя, "советов". А чуть позже, упоминая о "*прямо русской дороге*", которой идет Константин (и которой он призывал следовать Гоголя), писатель несколько корректирует это понятие: во-первых, нужен конкретный "труд" (позже Гоголь будет поощрять его филологические штудии, работу над диссертацией); во-вторых, необходимо избегать умозрительности — тут следует намек на "немецкую философию", которую Аксаков, с точки зрения Гоголя, неоправданно сочетает с поисками национальной самобытности. И, наконец, в-третьих, Гоголь упрекает своего корреспондента в таком типично московском пороке, как лень.

Но самые резкие слова Гоголь позволил себе высказать К. Аксакову в ноябре 1842 г. в письме из Рима: "Я не прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его <...> Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою" (XII. С. 125).

Помимо травмы от "излишества" и аффектации в наставлениях Константина Сергеевича, Гоголь тяготился и самим стилем и укладом московской жизни. Для него, нуждавшегося в уединении и сосредоточенности, она оказалось слишком суетливой и шумной. Н.М. Языков, который приветствовал отъезд Гоголя в Москву энергетичным напутствием ("Благославляю твой возврат // Из этой нехристи немецкой // На Русь, к святыне московоречкой!"), с которым Гоголь одно время мечтал поселиться вместе в старой столице, позднее (летом 1842 г.) обмолвился такой фразой: "...В Риме <...> ему (Гоголю. — Ю.М.) вольготнее и привычнее, чем в Москве, где для него слишком шумно и *многознакомо*"²³. Очевидно, это колоритное выражение или, во всяком случае, его смысл восходят к самому Гоголю, с которым Языков в это время жил бок о бок.



В апреле 1848 г. Гоголь окончательно вернулся в Россию, а 12 сентября приехал в Москву. Здесь писатель прожил до конца своих дней, правда с перерывами, порой довольно длительными, когда он наведывался в другие края (Петербург, Одессу, Киев, Калугу и т. д.). Можно сказать, что до некоторой степени он сдержал свое обещание стать “постоянным жителем” Москвы.

Гоголь исподволь готовился к этому шагу, как бы примеривая к другим собственное решение. Своему другу А.С. Данилевскому он не советует возвращаться в Петербург, где они когда-то прожили вместе несколько лет; нужно ехать в Москву: “Там более теплоты и в климате и в людях <...> Там меньше расчетов и денежных вычислений” (письмо от 23/11 октября 1842 г. из Рима — XII. С. 110). И чуть позже (26/14 февраля 1843 г.): “Поезжай прежде в Москву, отведай прежде Москвы, а потом, если не слюбится, поезжай в Петербург” (Там же. С. 135).

Интересный факт: Гоголь и с Жуковским обсуждал перспективу переселения последнего в Москву, связывая с этим шагом укрепление престижа старой столицы. Из письма Гоголя к Языкову (от 2 января 1845 г. по н. ст., Франкфурт-на-Майне): “Если через год и Жуковский переедет на жительство в Москву (как он то помышляет), то Москва получит большую значительность и степенность, какой ей недоставало. Тогда может восстановиться в ней та литературная патриархальность, на которую у ней есть только претензии, но которой в самом деле нет” (Там же. С. 444). Это, конечно, недвусмысленная атака на “претензии” славянофилов, полагавших, что самобытностью, национальной исконностью (“патриархальностью”) Москва уже обладает.

И в “Выбранных местах из переписки с друзьями” (в статье “Просвещение”, датированной 1846 г.) Гоголь призывает Жуковского найти в старой столице свою окончательную “пристань”: “Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои” (VIII. С. 283). Наконец, уже по приезде в Москву, Гоголь уговаривает Жуковского “завести подмосковную” (письмо от 3 апреля 1849 г. — XIV. С. 118) — на манер многих здешних литераторов (скажем, Аксаковых), имевших за городом пристанище.

И все же поселившемся в старой столице Гоголю не удалось избежать косых взглядов, а порой и обидных слов со стороны ревностных москвичей. В ноябре 1848 г. Константин Аксаков, по свидетельству Сергея Тимофеевича, высказал “упреки в долгом пребывании в чужой стороне Жуковскому”. Говорилось это в присутствии Гоголя и косвенно задевало его, так что тот “рассердился”²⁴. А тут еще Гоголь подлил масла в огонь, объявив, что “он опять собирается за границу в Англию”. Этого уж Константин совсем не мог перенести: “...Я высказал ему свои ощущения касательно этих *бесстыдных отъездов* (!) в чужие края”. И, конечно, сделал вывод принципиального характера: мол, Гоголь “самонадеянно не понимает” “нашу старину”; “если все это так, то я думаю, не будет прока в его деятельности”²⁵.

Тем не менее в это время Москва действительно заняла в сознании Гоголя более заметное место. Растущий интерес к российским, а значит и к московским, древностям захватил писателя. В начале 1849 г. он просит Константина Аксакова прислать ему “на несколько дней” труд И.М. Снегирева “Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы” (М., 1841); отмечает значение “Сильвестрова Домостроя” (впервые опубликованного в 1849 г. во “Временнике императорского Московского общества истории и древностей российских”, кн. 1) и т. д.

В отношении Гоголя к Москве проявилось (по сравнению с 30-ми годами) новое качество: его интересует уклад жизни, “частный семейный быт”, в которых он, сходясь со славянофилами, видит плодотворное начало. Советуя А.М. Вьельгорской “быть русскою в значеньи высшем этого слова”, Гоголь добавляет: “Когда вы будете в Москве и взглянете на все ее святыни и увидите в старинных церквях ее останки древне-русской жизни, — вы тогда поймете это” (XIV. С. 120). Около того же времени Гоголь приглашает в Москву художника Александра Иванова: “Здесь так много открывается древностей и *преимущественно по вашей части*, что вы не обсмотрите и в целые годы” (Там же. С. 119, курсив мой. — Ю.М.). Это значит, что в сферу внимания Гоголя попадают и живопись, архитектура древней Москвы, к которым он, кажется, не проявлял прежде особого интереса (вспомним его статью “Об архитектуре нынешнего времени” — “Арабески”, 1835).

Но сходясь со славянофилами-москвичами, Гоголь хотел сохранить самостоятельность и свободу суждений²⁶. К тому же он не терпел патриотической кичливости и аффектации, нарушения чувства меры.

Как общественное течение славянофильство обладало тенденцией к бесконечному расширению, захватывая сферу не только политических или художественных взглядов, но и бытового поведения, гастрономических вкусов, привычек и т.д.²⁷ Формировался, в частности, самобытный стиль одежды, в одних случаях менее скованный, допускавший различные отклонения, в других — более строгий и педантичный. Последний вариант, как известно, наиболее полно воплотил Константин Аксаков, облачившийся в терлик и мурмолку. Для Гоголя это лишний пример свойственной славянофилам аффектации и приверженности к крайностям. В московском быте (в отличие от петербургского) он ценил большую свободу от моды и этикета, но использовал ее по-своему — отнюдь не на славянофильский лад²⁸. К слову сказать, и в еде Гоголь отнюдь не был “самобытником”, комбинируя, по своему вкусу, итальянские (макароны) и украинские (вареники) яства...

И по-прежнему Гоголя отвращала московская лень. Типичным москвичом со свойственной ему “разболтанностью” был для Гоголя П.В. Нащокин. Уговаривая его (еще в 1842 г.) переехать в Петербург в качестве воспитателя сына Д.Е. Бенардаки, писатель напоминает, что это потребует изменения всего стиля жизни, ибо “Петербург и Москва две разные вещи” (XII. С. 77).

В целом же при возросшей симпатии и принципиальном интересе к Москве Гоголь по-прежнему находился меж двух столиц, как “меж двух огней”. Петербургская разьединенность, изолированность всех и каждого, формальность и холодность отношений глубоко травмировали писателя; но и открытость и публичность московской жизни его тяготили. И смена Гоголем московских пристанищ (в частности, переезд от Погодина на Девичьем поле к А.П. Толстому на Никитский бульвар²⁹) диктовалась поисками уединения и душевного спокойствия, которые писатель до конца жизни так и не обрел.

Примечания

- ¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. (без места изд.), 1937—1952. Т. VII С. 15. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
- ² Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 151.
- ³ См.: Кнабе Г.С. Римская тема в русской культуре и в творчестве Тютчева // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 261 и далее.
- ⁴ См. подробнее: Манн Ю. "Сквозь видный миру смех...". Жизнь Гоголя. 1809—1835. М., 1994. С. 307 и далее.
- ⁵ Необходимо оговорить, что внешняя сторона настоящего (и более поздних) пребывания Гоголя в Москве (все его московские адреса и встречи) в этой статье специально не рассматриваются. Отсылаю читателя к книге: Земенков Б.С. Гоголь в Москве. М., 1954.
- ⁶ Плетнев П.А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 522.
- ⁷ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. М., Л., 1949. Т. 7. С. 276.
- ⁸ См. подробнее: Манн Ю. Указ. соч. С. 321—322.
- ⁹ См.: Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем // Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 93.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ См. подробнее: Мордовченко Н.И. Гоголь и журналистика 1835—1836 гг. // Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 106—150.
- ¹² В связи с гоголевской критикой несовременности московских литераторов — еще один маленький штрих. В написанной для "Современника" (но не опубликованной) заметке Гоголь на примере романа "Основание Москвы, или Смерть боярина Степана Ивановича Кучки" некоего И... К...ва высмеивал мелкотравчатую псевдоисторическую беллетристику в "народном" духе: это "один из тех романов, в роде которых выходит очень много и особенно в Москве" (VIII. С. 202).
- ¹³ Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 10. С. 577.
- ¹⁴ Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 96.
- ¹⁵ См.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 79—80.
- ¹⁶ См.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Мифология. Идеология. Контекст. М. 1993. С. 318.
- ¹⁷ См. об этом: Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 267 и далее. Из новых работ см.: Boele O. The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam, 1996; коррективы к этой монографии см.: Frank S. // Welt der Slaven. 1997. № 2. S. 380—384.
- ¹⁸ См. подробнее: Манн Ю. Поэтика Гоголя: Вариации к теме. М., 1996. С. 400.
- ¹⁹ Отголосок антифезы "Север — Юг" мы находим и во втором томе "Мертвых душ". В Петербурге тренинг "тридцатиградусный мороз", вост "ведьма-вьюга", а между тем "где-нибудь в четвер-

том этаже" (между прочим, местожительство самого Гоголя — в доме каретника Иохима на Большой Мещанской) "читается светлая страница вдохновенного русского поэта <...>, как не водится и *под полуденным небом*" (VII. С. 16).

20 Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 98.

21 Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 73.

22 Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 132.

23 Литературное наследство, М., 1952. Т. 58. С. 635.

24 Там же. С. 714.

25 Там же. С. 715 (Курсив мой. — Ю. М.).

26 В этом контексте интересен такой факт. Летом 1844 г. в Москву приехал младший брат Александра Иванова молодой архитектор Сергей Андреевич Иванов (1822—1877). Александр Иванов в связи с этим писал москвичу А.Н. Попону: "...Покажите брату Москву, дайте юности его почувствовать народность в ее памятниках <...> Да, нам суждено в разные лета видеть представительную столицу России. Не знаю, как лучше <...>: видеть ли ее юности в ранних летах, где молодое воображение, поэзия представляет безотчетно тысячи идей, понижающих одну другой, или уже в зрелых летах, испытав и поверив опытом все прекрасное в Европе, положительно определить, что принадлежит к красоте нашим собственно русским. Эти два вопроса часто были предметом спора моего с Гоголем" (Литературное наследство. Т. 58. С. 668—669). По смыслу письма видно, что в этом "споре" Гоголь придерживался второй точки зрения: увидеть Москву следует в свете приобретенного "опыта", трезвым взглядом и умом.

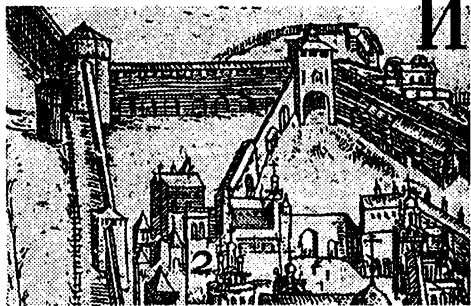
27 См. об этом: Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 266.

28 См.: Шенрок В.И. Указ. соч. М., 1897. Т. 4. С. 796.

29 Гоголь писал при переезде к А.П. Толстому, что тот живет "так уединенно и таким монастырем" (XIV. С. 101).

Владимир Соловьев и Москва

“Крепчайшими цепями прикован я
к московским берегам...”



История российской культуры по меньшей мере трех последних веков, наверное, не знает более значимой и фундаментальной для ее понимания дихотомии, чем противопоставление двух городов — Москвы и Пе-

тербурга. За этой дихотомией скрывалось не только противоречие между московским и петербургским периодами отечественной истории, не только разница в выборе исторических и геополитических ориентаций для страны, не только извечный конфликт западничества и славянофильства. Спор Москвы и Петербурга — спор не только политический или культурный, но и метафизический, философский. В основе его — неодинаковое представление о мире, о том, что составляет его подлинную сущность — конфликт, вечная борьба, борьба между культурой и природой или, говоря блоковским языком, между культурой и стихией, между разумной волей и волей слепой, иррациональной, безумной, или гармония, обусловленная воз-

возможностью и неизбежностью взаимопроникновения обоих начал. Москва в отличие от Петербурга являлась зримым свидетельством органичности культуры, ее естественного, непроизвольного, “природного” произрастания, и эта органичность подтверждала, вселяла надежду на имманентную одухотворенность природы, на то, что ею правит не слепая, равнодушная к человеку воля, а мудрый таинственный законодатель. Именно поэтому первопрестольной столице был, как правило, чужд философский пессимизм, не случайно именно здесь возникли в 30-е годы прошлого века первые кружки русских энтузиастов немецкого идеализма — Станкевича и Любомудров, участники которых верили в духовную осмысленность мирового развития, в то, что природа и история открываются в своей полноте поэзии или спекулятивной философии, а не отвлеченному научному знанию. Идеология “примирения с действительностью” Белинского вырастает из этого, специфически московского, настроения.

Петербург долго не мог выразить адекватно своего философского мироощущения¹ до того момента, пока сама европейская мысль не пришла к выводу о принципиальной неорганичности мира, ее роковом для бытия человека расколе на царство ценностей и царство жизни. Не случайно, как справедливо отмечает в недавнем исследовании современный петербургский философ М.С. Каган, в Петербурге в конце XIX — начале XX в. получила признание неокантианская философия², исключившая область иррационального, т. е. самую “жизнь”, из научного познания, отказавшаяся считать источником знания непосредственное восприятие человеком внешней и внутренней действительности и таким образом как бы заперевшая человека в “царстве ценностей” или в конструируемой его собственным сознанием реальности. Неокантианцами были преподаватели Петербургского университета А.И. Введенский, И.И. Лапшин, С.И. Гессен. С другой стороны, петербуржцем был и Н.Н. Страхов, один из немногих русских мыслителей XIX в., принявших этическое учение Шопенгауэра об отречении от жизни как от греховного безнравственного начала.

Итак, идейный спор двух столиц определяли в большей мере метафизические, чем политические противоречия. Эти города продуцировали различные представления о мировом целом, расколотом и конфликтном, с одной стороны, и органичном — с другой. Подтверждений такому, не очень оригинальному, тезис-

су множество. Перечисление их заняло бы слишком много места, тогда как прекрасный анализ оценок деятелями русской культуры Москвы и Петербурга содержится в статье В.Н. Топорова «Петербург и “Петербургский текст русской литературы”». Основной вывод автора полностью соответствует нашему заключению: «Москва, московское пространство (тело) противопоставляется Петербургу и его пространству, как нечто органичное, естественное, почти *природное* (отсюда обилие растительных метафор в описаниях Москвы), возникшее само собой, без чьей-либо воли, плана, вмешательства, — неорганичному, искусственному, сугубо “культурному”, вызванному к жизни некоей насильственной волей в соответствии с предумышленной схемой, планом, правилом”³. Отсюда обилие приводимых Топоровым признаний самых разных людей — от Н.И. Тургенева до Б.М. Эйхенбаума — о трудности, почти невозможности жить в Петербурге (причем признаний, явно не декларативных, не рассчитанных на анонимного читателя, оставленных либо в частной переписке, либо в дневниковых записях). Трудно постоянно находиться в городе, который есть воплощенная борьба, однако и покинуть его оказывается не менее сложно. Среди петербуржцев — ненавистников Петербурга, таких как Ф.М. Достоевский или Н.Н. Страхов, — немного было тех, кто решился оставить навсегда северную столицу.

В.С. Соловьева часто называют первым самостоятельным русским философом. В этих словах есть доля справедливости, хотя есть и преувеличение. Все-таки не следует недооценивать творческую самостоятельность и интеллектуальную зрелость таких фигур, как И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, П.Д. Юркевич, и не нужно переоценивать своеобразие Соловьева, во многом следовавшего традиции малознакомой России древней гностической и новоевропейской мистики⁴. Тем не менее деятельность Соловьева, первые работы которого появились в 70-е годы прошлого столетия, действительно знаменовала собой начало самостоятельного пути развития русской философии, не зависящего всецело от синхронного с ним течения европейской мысли. Кратко — этот путь заключался в попытке разрешения антиномии жизни и смысла, идеального и реального начал бытия. Русская философия в конце XIX в. стремилась преодолеть разрыв между жизнью и ценностями, проявившийся в метафизических учениях немецких пессимистов — А. Шопенгауэра и Э. Гартма-

на, — и, доказав возможность сочетания этих начал, укрепить веру в *осмысленность жизни, в наличие у жизни смысла*. Жизнь сама в себе лишена разума, полагали немецкие пессимисты, и потому разум может звать человека к одной лишь цели — уничтожению жизни, самоотрицанию ее метафизической субстанции — воли. Сознание дуализма, разорванности единого мирового целого на царства бессмысленной жизни и безжизненных ценностей, — первопричина того зафиксированного в магистерской диссертации В.С. Соловьева 1874 г. “кризиса западной философии”, который в качестве одного из своих следствий имел поворот русской мысли к классическому философскому наследию Европы, к наследию христианского неоплатонизма.

Несложно заметить, что указанное направление русской философии, определенное верой в органичное сочетание противоположных начал бытия, выражало как раз то специфическое миропонимание, которое выше было определено как “московское”. Действительно, русская философская школа (то, что называют русским идеализмом, включая в него метафизику всеединства и неолейбницианство), как справедливо отмечает Г.П. Федотов в статье “Три столицы”, “сложилась и крепла”⁵ в Москве, ведущие представители этой школы — по преимуществу москвичи, если не по рождению, то по постоянному месту жительства. Исключения весьма показательны — довольно длительный петербургский период творчества С.Л. Франка и Н.О. Лосского отмечен наиболее сильным влиянием на них западных гносеологических учений, неокантианства и интуитивизма. Именно в Москве в 1885 г. возникло Психологическое общество, ставшее фактически первым объединением русских философов (в Петербурге попытка создать философское общество, предпринятая Соловьевым, Страховым, кн. Д.Н. Цертелевым, Э.Л. Радловым и др. шестью годами раньше, успехом не увенчалась). По существу первый русский философский журнал “Вопросы философии и психологии” также появился в Москве в 1889 г. География русского идеализма — это, конечно, московская и в не меньшей степени, кстати, киевская география.

Вл. Соловьев являлся, бесспорно, виднейшим философом “московской школы”, более того, он был ее родоначальником и вдохновителем. Но был ли он сам “москвичом” как в бытовом, так и в установленном нами культурном смысле этого слова? Для некоторых историков культуры здесь нет никаких вопро-

сов: религиозность и философский консерватизм Соловьева свидетельствуют о его "москвитянстве". «Кажется естественным, — пишет, например, М.С. Каган, — что культурологическая концепция Н. Данилевского и философское учение В. Соловьева родились в Москве, противостоя распространившимся через "окно в Европу" чужеродным феодальной Руси революционным идеям»⁶. Что касается Данилевского, то его единственное "культурологическое" сочинение "Россия и Европа" было написано, конечно, не в Москве, а на берегу Крыма, в Мшатке, в которой создатель теории культурно-исторических типов, кстати, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, провел последние 20 лет жизни. С Вл. Соловьевым — ситуация сложнее. Соловьев родился в Москве и умер близ Москвы, в с. Узкое (находящемся ныне в черте города), в имении П.Н. Трубецкого. Значительная часть его жизни — с 1869 по 1877 г. — была связана с Московским университетом, где он учился, а затем работал. После разрыва с Московским университетом Соловьев покидает Москву и на короткое время поселяется в Петербурге, однако, уже с 1882 г., положившего конец академической карьере мыслителя, для него начался период отчасти вынужденного, но отчасти и добровольного бездомья. В Москве, на углу Пречистенки и Зубовского бульвара, на втором этаже дома Лихутина в 80—90-е годы находилась квартира его матери и сестер, в которой он, не имевший собственного дома и каждое лето скитавшийся по усадьбам своих друзей, всегда мог найти пристанище. В этой квартире, где для Соловьева была выделена специальная комната, философ весной 1883 г., как сообщает его сестра М.С. Безобразова, лечился от тяжелой болезни, "не то тифа, не то нервной горячки"⁷. Здесь же он время от времени находил отдохновение от невзгод и забот. В письме М.П. Шеншиной (жене А.А. Фета) от 20 июля 1890 г. он рассказывал о том, что целое лето "проводил время в Москве совершенно одиноко на пустой квартире с дворником и ласточками под моим окном (это мое единственное утешение в Москве, на днях вывелась целая стая молодых), частью же гостил в окрестностях Москвы"⁸. После переезда матери Соловьева Поликсены Владимировны в Петербург в конце 90-х Соловьев останавливался в Москве в квартире своей сестры Надежды (угол М. Успенского и Б. Власьевского пер., дом Скородумова, ныне М. Могильцевский пер., 2), где у него также была своя комната.

В те же годы Соловьев часто жил в Петербурге, в неблагоустроенных, нередко неотапленных квартирах, в гостиницах, где его донимали многочисленные посетители и просители милостыни. О петербургских мытарствах Соловьева сообщает в своих воспоминаниях его друг В.Л. Величко: “Пробовал он, например, жить в Царском Селе, чтобы уединиться и работать на просторе: квартира была прямо идеальная в отношении всяких неудобств и нестерпимого холода, еда — суший миф; а посетители не отставали и тут. Предпоследние два года прожил он в Петербурге, на Потемкинской улице, в холодной и почти немеблированной квартире, без прислуги. Когда дворничиха вспомнит, что надо протопить, температура становится выносимее; если забудет, то сам философ, когда уж очень промерзнет, наколет дров и сунет их в печку, а не то так и просидит в холоде”⁹. Если в Москве к услугам Соловьева был в полном распоряжении кров и стол, то в Петербурге приходилось скитаться по чужим квартирам, а вместо завтрака и обеда по причине малого количества наличных денег нередко довольствоваться всего лишь чашкой чая на Московском вокзале. И, тем не менее, в конце жизни Соловьев считал Петербург глубоко близким себе городом. С.М. Соловьев, племянник философа (кстати, коренной москвич), в своем жизнеописании Соловьева отмечает усилившуюся у философа в конце жизни любовь к северной столице. Самым ярким выражением этой любви стало стихотворение “У себя”, которое Соловьев написал в июне 1899 г. после возвращения из-за границы:

Дождались меня белые ночи
Над простором густых островов...
Снова смотрят знакомые очи,
И мелькает бывшее без слов.

«Город, — комментирует это стихотворение С.М. Соловьев, — который в юности казался Соловьеву “чухонским содомом”¹⁰, теперь стал для Соловьева любимым, родным городом, где он был “у себя”»¹¹.

С.М. Соловьев в своей книге отмечает все оттенки отношения философа к двум российским столицам, стремясь доказать духовную родственность “певца Софии” Петербургу. Воспользуемся и мы его наблюдениями. Первоначально Вл. Соловьев, находившийся под влиянием славянофильства, воспринимает Пе-

тербург так, как и подобает автору аксаковской "Руси" и катковского "Русского вестника". Впрочем, еще до начала своей литературно-философской карьеры, в 20 лет, он писал своей возлюбленной Е.В. Романовой в Петербург: "Знаю, что и тебе не весело одной в скверном, пустом городе"¹². Любовь к Москве в эти же годы у философа соседствует не только с откровенной неприязнью к Петербургу, но и почти полным равнодушием к красотам европейских столиц. Незадолго до окончания первого путешествия за границу в 1876 г. Соловьев из Парижа сообщает в письме к отцу, знаменитому историку С.М. Соловьеву: "Больше уже путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западный нужник не поеду, а так как мне сведущие люди предсказали много странствий, то я и буду странствовать по окрестностям города Москвы"¹³.

Антипатия к Петербургу не ослабевает, а, наоборот, усиливается после вынужденного переезда в этот город в 1877 г. и начала работы в ученом комитете при Министерстве народного просвещения. Работа не приносит философу никакого удовлетворения ("Заседания — скука смертная и глупость неисчерпаемая", сообщает он в одном из писем своему другу Д.Н. Цертелеву¹⁴) и только отвлекает его от подготовки докторской диссертации и чтения в Публичной библиотеке немецких мистиков. 4 мая 1877 г. Соловьев в письме к отцу, апологету и поклоннику петровских преобразований, дает концептуально развернутое объяснение своей нелюбви к творению столь почитаемого С.М. Соловьевым-старшим императора: "Большими делами Петербург не интересуется, можно подумать, что история происходит где-нибудь в Атлантиде. Я совершенно убедился, что Петербург есть только далекая колония, *на время* ставшая государственным центром. Очень жалею, что пришлось переселиться сюда в это время. В физическом отношении не могу пожаловаться на Петербург, чувствуя себя совершенно хорошо"¹⁵.

Последнее письмо требует особого комментария. Соловьев упоминает о некоей истории, которая происходит где-то далеко от Петербурга и к которой северная столица не имеет никакого отношения. Почему Соловьев жалеет, что переехал в Петербург именно *в это время*? Философ имеет в виду, конечно, события на Балканах, освободительную борьбу западных славян против турков, начало которой положило сербское восстание 1876 г. Русская общественность тогда в массе своей оказала горячую

поддержку восставшим славянам. Поначалу эта поддержка носила неофициальный характер, на Балканы отправлялись тысячи добровольцев, желавших послужить общеславянскому делу, тогда как царское правительство всячески старалось избежать непосредственного вмешательства в конфликт. Военное поражение сербской армии, возглавляемой русским генералом М.Г. Черняевым, и давление общества вынудили Александра II объявить войну Турции, продолжавшуюся с 1877 по 1878 г. и завершившуюся стоянием русского войска почти что “у врат Константинополя”.

В мае 1877 г. Соловьев чувствует, что славянофильская Москва гораздо в большей степени, чем официальный Петербург, откликается на драматические балканские события. Соловьев не хочет остаться в стороне от них, и поэтому отправляется летом того же года на фронт в качестве военного корреспондента. Впрочем, в этом качестве он пробыл весьма недолго и уже осенью того же года вернулся в Москву, а затем в Петербург. По утверждению С.М. Лукьянова, скрупулезно изучавшего обстоятельства жизни молодого Соловьева, “славянофильство Соловьева в его молодые годы вовсе не было славянофильством узкоортодоксальным. Соловьева болезненно раздражало не — мнимое или действительное — равнодушие северной столицы к славянофильской догме, а ее буржуазно-чиновничье, далекое от искреннего одушевления широкими национальными и гуманными идеалами, в наилучшем случае корыстно-националистическое или ребячливо-патриотическое отношение к той великой задаче, которая разрешалась тогда на Балканском полуострове”¹⁶.

Перелом в отношениях Соловьева к Москве и Петербургу наступает в 1887 г. Непосредственным поводом к этому изменению оказываются прочитанные им в марте того же года две благотворительные (в пользу бедных студентов) лекции на тему “Славянофильство и русская идея”. К концу 80-х годов Соловьев был довольно далек от славянофильства. Уже состоялся “великий спор” с И.С. Аксаковым, разорваны прежние дружеские связи с М.Н. Катковым, А.А. Киреевым. Причиной разрыва стало неожиданное обращение мыслителя к идее воссоединения церквей, предполагавшее (в его версии) подчинение православной Церкви римскому папе. О таком понимании русской идеи Соловьев и сообщает московской аудитории, состоявшей, по описанию очевидца, из “той части московской публики, которая

представляет современную аристократию, и той части неаристократической Москвы, которая интересуется философией, литературой, а также политикой, разделяя так или иначе мнение славянофилов”¹⁷. Ничего удивительного, что публика, встретив Соловьев бурными рукоплесканиями, проводила его “гробовым и мрачным молчанием”.

Раздраженный реакцией славянофильствующей Москвы, не желающей после несостоявшегося освобождения Рима Второго (а в этом ведь и состояла важнейшая цель балканской кампании) воссоединения с Римом Первым, Соловьев 4 апреля 1887 г. отправляет в письме брату Михаилу свой “комплимент Москве”¹⁸:

Город глупый, город грязный,
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной,
Скуки, сна, галиматый.

Нет причин мне и немножко
Полюбить тебя, когда
Даже милая мне ножка
Здесь мелькнула без следа.

“Комплимент Москве” отсылает не только к обращенному к Петербургу пушкинскому “Город пышный, город бедный” (вся вторая строфа представляет парафраз пушкинского стихотворения), но и к торжественному панегирику Москве близкого к славянофилам Федора Глинки, начинающемуся словами “Город чудный, город древний”. Антиславянофильская направленность этого стихотворения Соловьева очевидна. Москва ассоциируется с именем ведущего публициста националистического лагеря, редактора “Московских новостей”, активного противника католицизма и антиполониста М.Н. Каткова и с кутьей — кушаньем, по православному обычаю приготовляемым на похоронах и поминках. Что касается “неотвязной сплетни”, то скорее всего Соловьев имеет в виду активно распространяемый в печати слух о своем переходе в католицизм за границей в Хорватии, где он побывал в 1886 г.

В 1887 г. Соловьев окончательно порывает со славянофильством и переходит в стан западников, регулярно со следующего года помещая свои полемические статьи против Данилевского,

Страхова и их многочисленных эпигонов в либеральный петербургский журнал "Вестник Европы". По-видимому, присоединение к стану российских либералов-западников сыграло немалую роль в примирении Соловьева с Петербургом. В 1897 г. в письме к главному редактору "Вестника Европы" М.М. Стасюлевичу Соловьев писал о своем физическом и психологическом состоянии по обыкновению в шуточных стихах:

Не болен я и не печален,
Хоть вреден мне климат Москвы:
Он чересчур континентален, —
Здесь нет Галерной и Невы¹⁹.

Можно ли объяснить возникшую у Соловьева в конце 80-х годов нелюбовь к Москве, к ее "чересчур континентальному климату" только лишь изменением политических ориентаций философа? Мне представляется, дело не только и не столько в этом. В публицистике Соловьева 90-х годов довольно отчетливо обозначилось отношение мыслителя к московскому периоду истории российского государства. Оно — умеренно критичное, безусловно далекое от идеализации, но и не однозначно негативное. Предвосхищая критику московского благочестия такими православными либералами, как Георгий Федотов и о.Александр Шмеман, Соловьев отмечает "полное затемнение нравственного сознания" в XVI—XVII вв., "решительное искажение духовного образа человеческого, если не в страдательной массе народной, то в верхних слоях, отдавших всецело грубому деланию внешней истории"²⁰. Но Соловьев все же не разделяет мнения А.К. Толстого о том, что московский период был "бессмысленною напастью <...> неведомо зачем, надвинувшейся тучей"²¹. «Как организм высшего порядка, — пишет Соловьев в статье 1895 г. "Поэзия А.К. Толстого", — не может, подобно какой-нибудь губке или какому-нибудь моллюску, оставаться без твердой и определенной формы, так великая историческая нация не может обойтись без крепкого объединенного государственного строя. Создание этого строя было делом московского периода...»²²

Уже с конца 80-х годов Москва не могла казаться непредвзятому наблюдателю вотчиной славянофильства и единственной хранительницей его наследия. В 1886 – 1887 гг. уходят один за другим из жизни столпы московской консервативно-национа-

листической публицистики: редактор "Руси" И.С. Аксаков, редактор "Московских ведомостей" М.Н. Катков и редактор "Современных известий" Н.П. Гиляров-Платонов. С этого времени центр российского национализма постепенно перемещается в северную столицу. В Петербурге в 90-е годы обитают наиболее значительные представители позднего славянофильства: А.А. Киреев, Н.Н. Страхов, К.Н. Бестужев-Рюмин. В Петербург в начале 90-х годов переселяется, пожалуй, самый яркий из публицистов консервативного лагеря, язвительный оппонент Соловьева Василий Розанов. "Московские ведомости" после смерти Каткова под руководством С.А. Петровского, а затем В.А. Грингмута продолжают считаться печатным флагманом консервативных сил, но с ними уже удачно соперничают на этом фронте петербургские "Гражданин" В.А. Мещерского и особенно "Новое время" А.С. Суворина.

Русский национализм конца XIX — начала XX в. вообще трудно назвать "московским" явлением, каковым, безусловно, было славянофильство времен Хомякова и Киреевского, и не только потому, что его представители жили и в Петербурге. Националисты в это время были слишком захвачены политическими целями и политическими интересами для того, чтобы подвергать радикальной критике укрепившие державную мощь страны достижения петровской эпохи.

Кроме того, в Москве у Соловьева с конца 80-х годов появляется круг близких друзей и единомышленников, в котором его либеральные и религиозно-философские убеждения встречают понимание и поддержку. В 1889 г. после очередного приезда Соловьев обнаруживает в Москве "целую философскую плантацию"²³. Переведенный из Петербурга в Москву профессор Н.Я. Грот, известный философ Л.М. Лопатин, друг Соловьева еще по детским годам, и молодой историк философии С.Н. Трубецкой задумывают создать философский журнал, в котором просят принять участие и Соловьева в качестве редактора отдела философии религии. Собственно, эти люди и составили ядро русской философской школы, о которой уже говорилось в начале статьи. Все они в той или иной степени были едины с Соловьевым в его борьбе против национализма катковско-грингмутовского и консерватизма победоносцевского толка, все они были лишены той конфессиональной ревности, которой отличались старые славянофилы, хотя и не разделяли теократические

и католические увлечения Соловьева. И все же Соловьева постоянно тянет из родного дома, от близких ему по философским интересам и пристрастиям друзей (ближе в России у него в ту пору просто не могло быть) в холодную и неудобную северную столицу. Здесь у него тоже образуется круг друзей: в их числе не только авторы “Вестника Европы”, “невские скептики”, как называл их Соловьев, но и Э.Л. Радлов, Э.Э. Ухтомский, В.Л. Величко, А.П. Саломон и др. Трое последних, кстати, стояли на гораздо более консервативных позициях, чем сотрудники “Вопросов философии и психологии”. Ближайший петербургский приятель Соловьева, поэт В.Л. Величко, в бытность свою редактором газеты “Кавказ” вообще зарекомендовал себя рьяным националистом, ненавистником армян и борцом за русификацию Кавказа. Так что любовь Соловьева к Петербургу и его антипатия к Москве не проистекали исключительно из разочарования в славянофильстве и западнических симпатий. Тем более что Соловьев все-таки не стал, подобно своему старшему брату Всеволоду, в полной мере петербуржцем. Похоже, он вообще не представлял себе оседлой, спокойной жизни вне Москвы, ибо оседлость и постоянство ассоциировались у него только с родным городом. И, можно предположить, неожиданно прорвавшееся осенью 1892 г. из его уст признание (в поэтическом обращении к Д.Н. Цертелеву) — “Крепчайшими цепями прикован я к московским берегам”²⁴ — было вызвано не только финансовыми (как следует прямо из текста стихотворения) и любовными (как предполагает С.М. Соловьев) обстоятельствами его жизни. За всей этой, столь острой в последнее десятилетие соловьевской жизни, коллизией кроется какая-то иная, глубинная метафизическая причина, о которой можно только догадываться и делать самые смелые предположения.

Рискну высказать гипотезу: Петербург привлекал Соловьева потому, что в его поэтическом и философском мироощущении последних лет жизни произошел коренной перелом. Прежнее гармоническое восприятие мира сменилось на тревожное, трагическое, “петербургское”. Природа и человеческая культура предстали пред Соловьевым не в органическом единстве, а в напряженной борьбе друг с другом. Для философа утрачивал свою интеллектуальную очевидность и тот синтез Истины, Добра и Красоты, который недавно казался ему (и продолжал казаться таковым некоторым его московским друзьям) столь органичным

и неизбежным. Безбожная Красота в лице ее пророка Ницше и “антихристово Добро” (выражение Г.П. Федотова) в лице его проповедника Л. Толстого, отвлеченный эстетизм и отвлеченный морализм как бы разрывали изнутри Божественную Идею, разрушали как софийное единство трех начал бытия — Истины, Добра и Красоты, — так и теургическую связь трех компонентов культуры — науки, искусства и морали.

У каждой из этих сторон человеческой жизни оказывались свои, независимые цели, каждая из них определялась несовместимыми друг с другом и христианским вероучением ценностями. Из подобного мироощущения Соловьева рождается его видение Грядущего человека, Антихриста, долженствующего воссоединить распавшийся мир ценностей в каком-то зловещем, дьявольском, смертоносном единстве. Напряженное ощущение приближения развязки мировой истории делает для Соловьева невыносимой и предосудительной всякую (хочется заметить, “московскую”) самоуспокоенность, интеллектуально-философскую²⁵, либо благочестиво-церковную. “Боюсь, — признавался Соловьев в самые последние дни жизни В.Л. Величко, — что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в neroновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу”²⁶.

Ощущение призрачности единства классической европейской культуры порождает у Соловьева предчувствие восстания низших, доселе сдерживаемых цивилизацией сил. Эти силы подавляемой культурой жизни проявляются в виде примитивной магии, языческого демонизма. В 90-е годы Соловьев усиленно интересуется пережитками языческих верований у северных народов империи — лопарей, посвящает их религиозным представлениям в 1890 г. пространную, правда, компилятивную статью “Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки”. Поэтическим аналогом этой работы является стихотворение 1894 г. “Колдун-камень”. Согласно древнему финскому сказанию злые колдуны “правым роком” превращены в камни. Каждый из них

воскреснет один раз в век и вызовет заклинанием страшное наводнение, которое погубит грешные человеческие создания и погребет под собой их грешные дела. После совершения очистительного злодеяния колдун вновь обратится в камень. “Петербургский миф” о прорыве стихии, несущей гибель грешной, рукотворной цивилизации, в поэзии Соловьева обогащается совершенно новым смысловым контекстом. Водная стихия, смертоносная для земного града, вызвана к жизни воскресшим и восстановленным миром языческих поверий. В “Повести об Антихристе” все страхи Соловьева — нашествие “монголов”, крушение всемирного христианского единства, восстание языческой стихии — фокусируются в ярком и не лишенном какого-то бредового правдоподобия пророчестве: после освобождения Европы от власти монгольской расы папство, изгнанное из Рима, найдет прибежище в Петербурге, “под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны”, а его последний глава обретет успех “в борьбе с одною усилившеюся в Петербурге и его окрестностях сатаническую сектою, совращавшею не только православных, но и католиков”²⁷.

Борьба человека с природой, сопротивление ее злым демоническим силам — одна из тем соловьевской поэзии 90-х годов. Его лучшие стихотворения написаны под впечатлением красот северной финской природы, где, по словам самого мыслителя, “с природой в вечном споре // Человека дух растет // И с бушующего моря // Небесам свой вызов шлет” (Из стихотворения 1893 г. “По дороге в Упсалу”). Конфликт человека с сокрытыми в природе силами или разрушительными страстями его собственной души открылся Соловьеву как истина о мире, как подлинная реальность, но как реальность печальная, сама по себе даже нехудожественная и непоэтичная. Художественную ценность для Соловьева имела не борьба, не столкновение, а ее снятие, разрешение в мировой гармонии, в торжествующем покое, который приходит как успокоение после бури, как “Сладкая печаль” после “житейских волнений” и невзгод. “Страсти волну, — писал Соловьев в стихотворении 1895 г. “Иматра”, — с ее пеной кипучей // Тщетным желаньем, дитя, не лови: // Вверх погляди на недвижно-могучий, // С небом сходящийся берег любви”. Любя Петербург, Соловьев в душе оставался “москвичом”. Не случайно он, “крепчайшими цепями прикованный к московским берегам”, все-таки остался чужд оргиастически-

дионисийскому пафосу петербургских символистов: Мережковского, Сологуба, Минского.

К “московским берегам” философ и поехал умирать, когда накликаемая им буря, казалось, поднималась от юго-восточных границ России и грозила уже не только повергнуть во прах Третий Рим (как Соловьев предсказывал в знаменитом стихотворении “Панмонголизм”), но и сломить сопротивление всей Европы, христианская основа культуры которой, не спасенная его религиозной проповедью, истончалась на глазах. В душном, знойном июле 1900 г. из северного Петербурга, из находящейся неподалеку от него Пустыньки, с которой навсегда остались связаны самые дорогие и самые печальные воспоминания жизни, он возвращался туда, куда и должен был возвратиться в предчувствии близкой смерти, — на родину, в Москву, к единственному для него месту примирения и покоя. Ибо подлинный покой философу способна принести только смерть.

Примечания

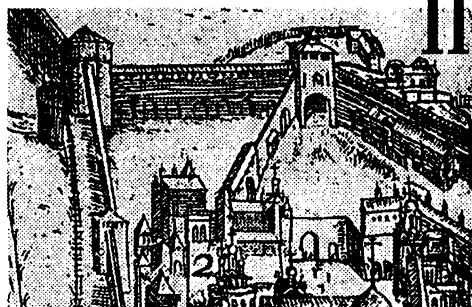
- ¹ Если не считать таковым позитивизм, с конца 60-х годов завоевавший господствующее положение в среде столичной демократической интеллигенции и сохранявший это положение вплоть до начала XX в. Однако петербургский позитивизм — явление, требующее особого социокультурного исследования. На мой взгляд, русский позитивизм был порожден в немалой степени страхом перед иррациональностью мира и надеждой на то, что точная эмпирическая наука в своей эволюции найдет технический способ уничтожить темное начало жизни, которое неподвластно нравственному сознанию, и потому не подлежит духовному просветлению (на что надеялись московские романтики-идеалисты), но требует лишь подавления и уничтожения. Эти специфические для России, петербургские корни позитивизма подтверждают и буддийские искания В.В. Лесевича и утопические проекты А.А. Богданова (хотя человека большую часть своей жизни и не столичного, но по духу — скорее петербуржца, чем москвича).
- ² Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 224.
- ³ См.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 272 — 273.
- ⁴ См.: Козырев А.П. Гностические влияния в философии Владимира Соловьева. Автореф. ... канд. дис. М., 1997.
- ⁵ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. Т. 1. С. 57.
- ⁶ Каган М.С. Указ. соч. С. 195.

- 7 *Безобразова М.С.* Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 107.
- 8 *Лукьянов С.М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. № 990. Кн. 2. Т. III. Вып. I. С. 135.
- 9 *Величко В.Л.* Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Книга о Владимире Соловьеве. С. 45.
- 10 "Чухонским Содомом" Соловьев называл Петербург в письме к А.А. Фету от 10 марта 1881 г. См.: *Соловьев В.С.* Письма. СПб., 1908. Т. 3. С. 107.
- 11 *Соловьев С.М.* Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 350.
- 12 *Соловьев В.С.* Письма. Т. 3. С. 84.
- 13 *Соловьев В.С.* Письма. СПб., 1908. Т. 2. С. 28.
- 14 Там же. С. 235.
- 15 Там же. С. 29.
- 16 *Лукьянов С.М.* Указ. соч. Кн. 3. Вып. II. С. 144.
- 17 Отрывок из письма Л.И. Поливанова Н.А. Демидову. Письмо приведено в книге С.М. Соловьева "Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция". С. 240.
- 18 См.: Богословский вестник. 1915. № 9. С. 66.
- 19 *Соловьев В.С.* Письма. СПб., 1908. Т. 1. С. 140. На Галерной ул. в Петербурге находилась редакция "Вестника Европы".
- 20 *Соловьев В.С.* Литературная критика. М., 1990. С. 140.
- 21 Там же. С. 139.
- 22 Там же.
- 23 Из письма Д.Н. Цертелеву. См.: *Соловьев В.С.* Письма. Т. 2. С. 255.
- 24 См.: *Соловьев В.С.* Письма. Пг., 1923. Т. 4. С. 163.
- 25 Столь характерную, кстати, для его московского друга Л.М. Лопатина, пытавшегося, согласно шуточному стихотворению Соловьева, "мешком динамических субстанций" "запрудить Гераклитов ток", т. е. течение времени. В этой связи любопытна также и характеристика Соловьевым профессора Московского университета в 1875—1899 гг., убежденного поклонника английской эмпирической психологии и непреклонного критика немецкого идеализма М.М. Троицкого, состояние души которого Соловьев сравнивал с "неподвижностью и замкнутостью садового пруда или аквариума" (*Соловьев В.С.* Собр. соч. В. 10 т. СПб., 1908—1911. Т. IX. С. 364).
- 26 Книга о Владимире Соловьеве. С. 53.
- 27 *Соловьев В.С.* Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 750.

Логика московской путаницы (на материале московской “несказочной” прозы конца XVIII — начала XX в.)

*В восьмистах переулках этого города-путаницы есть
Путинковский переулок (не от него ли все пошло)...*

С. Кржижановский. Московские вывески



Позволю себе продолжить цитату из С. Кржижановского: “Москва — это свалка никак, ни логически, ни перспективно, не связанных ансамблей, домищ, домов и домиков, от подвала по самые кровли набитых никак не свя-

занными учреждениями, квартирами, людьми, живущими врозь, вперебой, мимо друг друга...”¹. Это замечание — common place в суждениях о Москве немосквичей. Оно содержит два разнонаправленных упрека: один — городу как путанице архитектурной, строительной, стилистической, другой — людскому Вавилону. Не ставя перед собой неблагоприятную задачу оправдания Москвы, я постараюсь представить логику города, выраженную в его фольклоре, описав сначала пространственную организацию города, ту, которая воссоздается в фольклорных текстах, а затем людские взаимоотношения, то, как общались москвичи (на примере хотя бы двух форм коллективного поведения).

А.Ф. Белоусов в лекции “Городской фольклор” отметил, что “основное место в устной словесности города занимает говорение”², поэтому кажется вполне оправданным из общего фонда московского фольклора выделить так называемую “несказочную” прозу (основные свойства которой установка на достоверность и информативная функция) в качестве предмета исследования. Материал ограничен временными рамками. Я использую тексты, зафиксированные в коллекциях фольклористов, мемуарах и бытописаниях конца XVIII — начала XX в., т. е. времени, когда Москва не была “царствующим градом”. В то же время она не была и провинцией (сейчас для Санкт-Петербурга, имеющего столь же неясный статус, применяется определение “вторая столица”). Неясность статуса города отразилась на тематике фольклорной прозы, которая в меньшей степени спровоцирована официальной идеологией и зависит от поло-возрастных, личных, более “естественных” интересов горожан. Соревновательность с “первой” столицей отразилась в ряде сюжетов, основная функция которых — повышение статуса города. Например, среди сюжетов о булочнике Филиппове есть рассказ о том, почему его калачи и сайки выпекались только в Москве:

“Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

— Почему же?

— И очень просто! Вода невская не годится!”³.

В жанровом отношении тексты, анализируемые мной, определяются неоднозначно, поэтому я остановлюсь на некоторых типологических характеристиках. Как уже отмечено, преобладание информативной функции свойственно всей представленной группе текстов. С точки зрения структуры нарратива, одна группа текстов (городские легенды, предания, былички) характеризуется как сюжетная, состоящая из цепочки мотивов, другая (слухи, толки) как бессюжетная или с неразвернутым сюжетом (мотивом). Встречаются сюжеты, которые бытуют в текстах разных жанров, например, как предание о проклятом доме и его хозяине — исторической личности и как быличка о нечистой силе. По классификации К.В. Сидова⁴, основанной на различении точки зрения рассказчика, легенды, предания и бывальщины являются “фабулатами” — повествованиями от третьего лица. Это

наиболее привычный и удобный для фольклористики материал. Мною привлекаются и так называемые “разовые” тексты (“мемораты” в терминологии К.В. Сидова, повествования от первого лица), сюжет которых в отличие от фабулатов существует только в репертуаре определенного рассказчика. Тем не менее он может воспроизводиться рассказчиком на протяжении жизни не один раз и далее переходить в семейный или другой общий репертуар, если он удовлетворяет функциональным требованиям традиции. Наиболее типичный пример такого рода текста из городского фольклора — “случай из жизни” (жанровый аналог былички в традиционном фольклоре). Являясь “разовыми”, эти тексты, однако, пользуются традиционными мотивами и вариантами построения сюжета. И, наконец, слухи-толки. Они обладают прогностической функцией, неконкретностью источника информации (“говорили”, “рассказывают”, “ходил слух”, или замечательное “...вся Москва про это молчала”⁵ из того же Гиляровского) и точки зрения рассказчика.

Сначала я постараюсь показать, как ориентируются горожане в своем пространстве, какие локусы для них значимы, как происходило “народное картографирование” Москвы. Таким образом, станет явной внутренняя логика города. В фольклорном городском пространстве не бывает “нейтральных” достопримечательностей, все они обозначены или как положительные (чудесные, святые), или как отрицательные, связанные с проделками нечистой силы или с нечеловеческими поступками людей. При анализе текстов с функцией маркировки городского пространства (она может быть доминирующей или дополнительной) учитывалось, каким образом выделяется локус в пространстве, какая из характеристик работает через отнесение к определенной исторической эпохе, через персонажей (в тексте может не быть “героя”, а присутствовать историческая личность, положительная или отрицательная оценка которой перенесется на оценку локуса), через происшедшее там событие. Кроме того, отмечалось, выполняет ли текст дополнительные функции, например, рассказ о “чудесном спасении ризницы от воров”⁶ может служить пояснением к монастырскому празднику, или рассказы о “домах с привидениями” обязательно содержат этикетное правило прохожему перейти на противоположную сторону улицы, особенно в ночное время.

Хранителями “достоверных” прозаических текстов выступают коренные жители, во всяком случае, ссылка на услышанное от “старого москвича” служит повышению статуса текста. Однако активнее владеют информацией “неофиты” — люди, переселившиеся в город недавно, или дети, которым необходимо определиться в городе (недаром некоторые из приводимых воспоминаний относятся к детству мемуаристов).

Особую роль в городском ландшафте играли *церкви и монастыри*. Будучи местами “святыми”, они обладают заданной “положительной” маркировкой, что и подтверждают многие сюжеты. К их числу относятся церковные предания о “чудесном спасении от воров” ризницы Новодевичьего монастыря (“В морозную декабрьскую ночь очередной дьячок спал глубоким сном в сторожке у передних ворот монастыря. Вдруг чудится ему, что кто-то стучит в окно и велит идти благовестить к заутрене. Он просыпается, выходит во двор, посмотрел на небо: нет, еще слишком рано <...>. Ворча, опять уходит старик спать. “Ступай благовестить”, — в третий раз раздаётся у него в ушах, когда он едва уснул. <...> Вышел из сторожки и идет он стеною и видит через зубы, что по монастырю ходят взад и вперед какие-то люди с фонарями и свечами, что к паперти подъехало много пошевней тройками. Видит что-то недоброе. <...> Таким образом грабители были пойманы. Рассказ этот Погодин слышал от старика, монастырского священника”⁷), о строительстве храма Василия Блаженного на чудесно собранные этим юродивым деньги: “...как наберет полную полу, сейчас бежит на красную площадь, где теперь Василий Блаженный стоит. Прибежит и примется бросать деньги через правое плечо. А они падают — пятак к пятаку, копейка к копейке, три копейки к трем копейкам. Сами по порядку падали”⁸.

Однако, как и в крестьянском фольклоре, в городе существуют сюжеты, в которых православные храмы приобретают отрицательную оценку. Одна из легенд-долгожительниц повествует о появлении “черта на куличиках”, а именно о том, как в богадельне при храме Всех святых на Кулишках (Китай-город) завелся черт, и сюжет его изгнания даже вошел в повествование “Жития митрополита Иллариона”: в нищенпитательницу патриаршую “по действию некоего чародея вселился демон и живущим тамо различные пакости творяще”⁹.

Отдельно стоят те сюжеты, в которых упоминаются монастыри и храмы, но определяет место не их “святость”, а связанная с этим местом историческая фигура. В популярных в начале прошлого века рассказах о людоедке Салтычихе, содержащейся в яме Ивановского монастыря и “употреблявшей, по общей молве, в пищу женские груди и младенцев”¹⁰ упор делается на “жути”, категорически не укладывающейся в человеческие нормы поведения, а монастырь служит только местом заточения, Божьего и людского возмездия. Легенда об ослеплении зодчего храма Василия Блаженного по приказу Ивана Грозного разворачивает два вполне “светских” мотива — утверждение уникальной красоты храма и формирование образа царя — тирана — строителя (этот мотив в Петербурге присутствует во многих легендах о заложении города и Петре I, а в Москве в легендах о участии Сталина в реконструкции и строительстве Москвы): «...Ну, вот, значит и говорит (Иван Грозный. — И.В.): “Хочу церковь Василия Блаженного построить, чтобы на удивление всем была”. И приказал отыскать лучшего мастера. Только никто не идет — попрятались, попритаились, боятся. Думают — не угодишь, тут тебе и смерть. <...> А только все же выискался один такой мастер. “Я, говорит, могу сделать, только, чтобы ни в чем задержки не было”. <...> И строил мастер лет пять, а то и все десять, не знаю, сколько времени строил. А только, действительно, выстроил всем на удивленье. Царь остался доволен. “Это хорошо у тебя вышло, говорит, а лучше можешь сделать?” А мастер возьми и бухни: “Могу”, — говорит. Тут царь и принялся ругать его. “Ах ты, говорит, сукин сын! Ежели можешь, отчего не сделал?” И приказал отрубить мастеру голову»¹¹.

Слухи также не миновали церковные стены. В Москве существовал старинный обычай распускать невероятные слухи, когда на колокольном заводе начинали лить новый колокол, чтобы он был звонче. Например, П. Оловяшников в “Истории колоколов” приводит следующий эпизод: “Во время венчания в одной из церквей на Покровке, когда священник повел жениха и невесту вокруг аналоя, брачные венцы сорвались у них с голов, вылетели из окон церковного купола и опустились под наружные кресты, утвержденные на главах церкви... Слух этот настолько был силен в Москве, что к церкви съезжались экипажи в таком количестве, что проходу не было... К этому добавляли, что жених и невеста были родные брат и сестра и что они этого не

знали и что только чудо не допустило до греховного брака”¹². Собственно слух как бы примыкает к повествованию о происшествии, якобы имевшем место в определенной церкви, и имеет дополнительные функции маркировки места и этическую — напоминание о греховности инцестуальной связи. Чаще всего слухи, называемые “колокола лить”, были более краткими и служили чем-то вроде ритуального вранья, когда говорящий и слушатель знали, что это ложь, но не подавали виду: «“Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать”. Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит»¹³.

Как видно из последнего примера, *башни и городские ворота* также становятся местами, к которым приурочены легенды и предания. Рассказы о чудесах при воротах Кремля относятся к религиозным: монахиня Вознесенского монастыря¹⁴ “ночью, когда усердно молилась Богу об избавлении от бедствия города, внезапно услышала звон колоколов и узрела видение: ей привиделось, будто из Кремля, во Флоровские ворота, выходит целый собор святителей московских <...>; навстречу им явились преподобные Варлаам Хутынский и Сергей Радонежский <...>, и молили их не оставлять отечественного города на жертву врагам. Татары вскоре побежали из пределов московского царства”¹⁵.

С теми же Флоровскими (Спасскими) воротами Кремля и находившимся за ними Вознесенским девичьим монастырем связано и другое повествование-воспоминание коренного москвича, прихожанина церкви Николы Чудотворца в Кленниках:

«Мы вышли на бульвар, и тут я заволновался. Ведь за стеной был Кремль, и рядом не было Поли, чтобы мне пригрозить. Я думал, мы только войдем в ворота и посмотрим на Кремль, а потом пойдем домой.

Мы сошли с бульвара и пошли к воротам. Туда шло много народа, и мы вместе со всеми прошли через них. Я смотрел во все глаза. Где же сверкающие золотые соборы? Никакого Кремля не было. Была толкучка людей, что-то вроде нашей Устьинской толкучки, но только в сто раз больше. Кругом сновали, двигались, переходили с места на место люди с разным товаром, вдоль по стене теснились какие-то прилавки, лавчонки, сарайчики. Прямо на земле стояли лотки, сидели торговки. <...> Вдруг мне стало страшно. Я захотел назад, домой. Но тут я понял, что не знаю, где я, не знаю, как идти назад и где дом.

Я не заплакал, не закричал... Моя крестная мать, бабушка моя, учила меня: "Саша, если ты заболеешь, если что потеряешь, если сам потеряешься, заблудишься или испугаешься, молись Богу, и Бог тебе поможет".

И я начал молиться. Я все куда-то шел и все молился.
<...>

И тут кто-то наклонился ко мне и сказал: "Дети идите за мной!"

Это была женщина, старая, как моя бабушка. Только бабушка была очень сторбленная, а она, когда выпрямилась, была худая и высокая. И сказала она так ласково, как говорила бабушка, когда крестила меня на ночь. Голова ее была закутана в черный платок, и этот черный платок падал ей до ног и закрывал ее всю. Она еще раз оглянулась на меня и пошла вперед, налево, туда, куда с громом и грохотом катались ломовые. А я, как она велела, пошел за ней. Мой испуг прошел... Она шла не рядом с нами, а впереди шага на четыре, но я все время ее видел... Стоило мне посмотреть вперед, и я ее видел, видел всегда, как она шла, как она иногда поворачивала голову и взглядывала на нас. Она была точно выше всех, точно шла надо всеми...

Я так все разглядывал, что не заметил бы улицу, уходящую налево, но я вдруг остановился. А где же?.. Я не видел больше ее черного платка. Ее не было там, впереди, передо мной. И я услышал ее голос: "Теперь ты знаешь, где ты и найдешь свой дом". Она говорила очень тихо, как бы откуда-то издалека. И где была она, я не видел. А может быть, я уже и не думал о ней. Все, что только что было со мной, все забылось от той безудержной радости, которая меня охватила сейчас, потому что, когда я смотрел кругом себя, я все узнавал... Это были наши Садовники... В каком же я был восторге, что теперь кругом опять все свое, что я все могу узнавать и называть. Вот красная церковь, где на стене образ во всю стену за стеклом¹⁶. Здесь был нарисован большой белый конь, и на коне Георгий Победоносец, который бил копьём прямо в красный язык змея. А вот дом, где я родился... Дальше вбок по переулочку была церковь Николы Заяицкого... Мы пришли.

Дома я ничего не сказал. Сережа тоже молчал.

...Когда, заблудившись в переулках Китай-города, я остановился на углу Средних рядов, то, конечно, в своем испуге и смятении я не подозревал, что стою перед моим желанным Кремлем. Я не вошел в него, но туда вошла моя молитва. И в Вознесенском монастыре у Спаских ворот святая и преподобная Евфросиния, великая Московская¹⁷, встала из своей пречистой

раки и явилась ребенку, и путеводила мне, и привела меня домой. Так я знаю. Так я верю»¹⁸.

По жанру этот текст можно отнести к “случаю из жизни”, причем в данном конкретном случае он является личным переживанием религиозного чуда, для рассказчика основной целью является утверждение правила в сложных ситуациях обращаться к молитве, утверждение силы молитвы и явления по ней для помощи московской святой. В тексте очевидно деление на две части: повествование о происшедшем и его интерпретация в традиции рассказов о чудесах. Рассказ интересен прежде всего тем, что он раскрывает тему путаницы, блуждания в бесчисленных московских переулках, освоения — называния пространства. Этот рассказ как никакой другой показывает значение личных переживаний в постижении Москвы, сопротивляющейся геометрии и счету.

Самым заметным московским ориентиром была и остается колокольня “Ивана Великого”. Интересно, что в “Рассказах бабушки” — книге воспоминаний коренной москвички Е.П. Языковой, жившей в XVIII — XIX вв., — рассказ о “Иване Великом” и Бонапарте стоит в ряду с рассказами о судьбе близких родственников во время Отечественной войны 1812 г. Предание повествует о том, что Бонапарт, которого уверили, что крест на “Иване Великом” из чистого золота, приказал снять его. Ни один из солдат его армии не осмелился подняться на такую высоту. Тогда сторговались с «каким-то русским пьянчугой за 100 рублей. Тот снял крест, за что получил деньги и отповедь Бонапарта: “... Ты русский, ты сторговался за сто руб. подвергнуть свою жизнь опасности, стало, тебе жизнь не дорога. Ты снял крест с своей церкви, чтоб отдать врагу, стало быть ты изменник. Я изменников ненавижу и нахожу, что они недостойны жить”. И тут же тотчас молодца и расстреляли, и хорошо сделали: поделом вору и мука»¹⁹.

“Невестой Ивана Великого” прозвали в народе Сухареву башню, в которой, по преданию, обитал колдун Брюс, оставив в ней свою знаменитую книгу предсказаний. “Он мог посредством этой книги узнать, что находится на любом месте в земле, мог сказать, у кого что где спрятано... Книгу эту достать нельзя: она никому в руки не дается и находится в таинственной комнате, куда никто не решается войти”²⁰.

То, что москвичам всегда было интересно, что находится “на любом месте в земле”, свидетельствует стойкая аура таинственности над *московскими подземельями*. Это и знаменитая библиотека Ивана Грозного, и клады в подземных ходах²¹, и подземные застенки-пыточные в зданиях Тайной экспедиции в XIX в., и страшные подвалы Лубянки XX-го, и загнанная в трубы река Неглинка, которая была, по мнению многих, тайным кладбищем. В путешествии Гиляровского с провожатым по ее подземному речному руслу «что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать. А Федю все-таки прорвало: “Верно говорю: по людям ходим”»²². По наследству таинственность перешла и в московское метро.

Интересно, что в текстах, действия которых разворачивались в *тюрьмах*, отрицательное значение нейтрализуется или даже переходит в положительное — например, в бытовавших в прошлом веке рассказах о дезертире Ланцове, который уплыл из Бутырок на нарисованной на полу камеры лодке²³. В XX веке этот сюжет воплотился в рассказах о заключенном архитекторе, который улетел со строящегося Главного здания МГУ посредством сооруженных крыльев²⁴. В подобных сюжетах и рассказах о разбойниках, промышлявших на *пригородных дорогах*, обозначение и оценка конкретного места являются второстепенными по отношению к повествованию о герое. Похождения одного из знаменитых московских разбойников приводит Пыляев: “Про Веревкина, например, расскажут и покажут место, где он остановил многолюдную свиту богатого рязанского помещика Волинского и взял у него все, оставив ему только по расчету, сколько нужно было на проезд, на молебен и на свечу к чудотворной иконе... Про этого Веревкина много рассказывали небылиц, так его, например, неоднократно окружала военная команда; но Веревкин выпивал заветный ковш вина и сам исчезал в том же ковше... Долго и никогда, может быть, Веревкин не попался бы, если бы не изменила ему женщина”²⁵.

Таким образом, в зону, освоенную городским фольклором, входят и ближайшие пригороды. Отдельную группу сюжетов составляют рассказы о реликтовых растениях и животных, растущих и обитающих в *парках и усадьбах*: дубах Петра I в Петровско-Разумовском, аллее Алексея Михайловича в Измайлове, щуке, осетре и карпе, окольцованных при Екатерине Великой и выловленных в царцынских прудах²⁶. Обычно древность их свя-

зывается со значимой исторической личностью, и реликты служат медиатором времени, его воплощением. Сама печать древности и исторической личности положительно маркирует это место. Эти сюжеты в XX в. нашли свое применение в экскурсионных программах.

С городскими домами, в основном, связываются проделки нечистой силы, появление привидений, “черных” и “белых” фигур. Естественно, эти дома как-либо выделяются среди остальных. Чаще всего это заброшенные или долгое время пустовавшие дома: “...в середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, <...> заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак”, “...по другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II, <...>. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. <...> А тогда в нем жили... черти”²⁷. “Давно знаю этот домина, лет 30: все пустует, все порожняком стоит. Никто жить в нем не хочет от беспокойства... Покою нет”²⁸. В прошлом веке дома с масонскими знаками привлекали внимание так же, как и заброшенные здания – “в шестидесятых годах на Мясницкой улице, напротив почтамта, в доме бывшем Кусовникова, существовал целый ряд комнат со всеми атрибутами и украшениями прежнего масонства <...>. Оригиналы-старики прожили в доме более пятидесяти лет, ни разу не переступив порога таинственных и страшных комнат”²⁹, “...в мезонине соллогубовского особняка почему-то жил поэт Рукавишников <...>. Он рассказывал историю этого дома и уверял, что в нем водятся привидения, что в стенах какие-то тайные ходы... Последний владелец дома был масоном. Еще при нас сохранились две комнаты, покрашенные в черный цвет, на потолке были белые звезды”³⁰. Дома с привидениями, чертями и “белыми” и “черными” дамами или становились местами кровавых драм (в этом случае рассказы о них являются сюжетными повествованиями, которые могут классифицироваться как городские предания или бывальщины), или самоценными хранилищами нечисти, которые стоило, крестясь, обходить стороной (тогда за краткостью тексты о них можно определить как былички или даже слухи-толки).

Еще один пласт сюжетов назовем “градостроительные” легенды. Ядром такого типа сюжетов является мотив строительства и уже упоминавшийся персонаж “царь-строитель”, и их

функцией можно считать освоение традицией нового городского объекта. Бытование этих легенд зависит от статуса города, во всяком случае, пропорции записанных текстов в Москве — Санкт-Петербурге зависят от времени перемещения столицы из города в город. Для Москвы дореволюционной это сюжеты, связанные с Иваном Грозным, — строительство кремлевских стен («Эти стены кремлевские Иван Грозный построил. Погнал из деревень народу множество, может, тысяч двадцать. “Чтобы, говорит, в один месяц было все готово”. Ну, стал работать народ. А платил царь каждому человеку по пятнадцати копеек в день, а какие это деньги? На них рабочий человек сыт не будет. И много тут народу от голоду помиралось <...> Но, все же к сроку кончили. А царь только посмеивается. “Иной бы, говорит, эти стены три года строил, а у меня в месяц готово”. Вот и недаром старые люди говорят: “Кремлевские стены на костях человеческих стоят”. Так оно и есть»³¹) и собора Василия Блаженного. В Москве советской подобные сюжеты связаны с именем Сталина и грандиозным планом реконструкции Москвы: асимметричный фасад гостиницы “Москва”, профиль Троцкого в складках скульптуры “Рабочий и колхозница”. Невероятные темпы строительства в Москве в последние годы стали предметом для современных баек о мэре, построенных по этой продуктивной модели.

Представленные тексты городского фольклора выполняют более или менее четко выраженную функцию урегулирования отношений между горожанами и городским пространством. Закономерно, что являясь элементами общегородского знания, легенды, предания, былички имеют конкретную пространственную привязку, помогая человеку ориентироваться на местности. Среди локусов, активно осваиваемых московским фольклором, многочисленны *монастыри и храмы, подземелья, башни и ворота, парки и дороги*, заброшенные и опустевшие дома. Нетрудно заметить, что все эти точки пространства являются или территориально (ворота, башни, дороги, подземелья), или социально пограничными (храмы, монастыри, тюрьмы, заброшенные дома). Лабиринты переулков, стен и площадей оборачиваются несложным для распутывания клубком, если знать внутригородские “маяки” и границы. По сравнению, например, с регулярностью Санкт-Петербурга, Москва организует свое пространство не по планам и соображениям эстетической и другой целесообразности, а изнутри — по меткам интересного, опасного для каждого

в отдельности, по соображениям человеческой необходимости. Будучи и официальной, и культурной столицей, Петербург создавал свой миф во многом при помощи литературы, искусства³². Москва же использовала более “интимные” сюжеты. Итак, “свалка домищ, домов и домиков” оказывается своего рода порядком, где постройки и ландшафты расположены не в “строгом и стройном” ритме, а переплетены с изнанки “исторически сложившимися” связями. Путаница архитектурная находится в прямой зависимости от человеческих интересов и отношений, которые, по мнению сторонних наблюдателей, представляют неразбериху.

С одной стороны, городской повествовательный фольклор рассказывает о достопримечательных местах, с другой — сфера его бытования имеет некоторые точки концентрации в пространстве. Это те места, где преимущественно рассказываются истории. Попробую выявить эти точки, чтобы обозначить формы общения москвичей. В русской культуре, кроме сословного деления общества до начала XX в., оставались четкими границы основных половозрастных групп:

- незамужняя-неженатая молодежь,
- женатые мужчины, пожилые мужчины,
- замужние женщины, пожилые женщины.

Существовали, правда, как и во всяком обществе, маргинальные и лиминальные группы, личности — нищие, солдаты, монахи, заключенные, т. е. те самые, места обитания которых отмечались в городском пространстве. Возможности и условия общения внутри и между этими группами также были регламентированы (иногда негласно, но строго) традицией. Это касалось возможных мест встреч, одежды участников общения, тем разговоров и, если остановиться на вербальных формах, речевых жанров, сюжетов, ролей. Мне хотелось бы представить две формы коллективного общения неаристократической части городской публики: мужскую *в трактире* (куда не пускались женщины и солдаты), женскую *дома и при церкви*.

Трактиры можно назвать самыми “мужскими” местами в городе в прошлом и начале нынешнего века. Общеизвестно, что туда не пускали женщин, исключение составляли только “свои” женщины, которые обслуживали посетителей в отдельных кабинетах, и в общие залы их не допускали. Московский бытописатель П.И. Богатырев напоминает, что “...трактиры посещали

только мужчины, а женщины устраивали у себя дома вечеринки в подходящее для этого время”³³. Как же проводили время мужчины в трактирах? Во-первых, они там ели, и ели так, что становились персонажами сообщений на странице “Пронсшествия” в газетах, где сообщалось, что купцы 1-й и 2-й гильдий съели на спор по полтора ста блинов и скоропостижно скончались³⁴, или фельетонов; во-вторых, деловые люди, купцы, подьячие, промышленники, издатели совершали там сделки; в-третьих, проводили время за питием чая, горячительных напитков и “мужским разговором”. «Как только отпирали лавки, соседи собирались в ряду кучками и сообщали разные новости, а то так просто рассказывали друг другу, как кто вчера провел время. Такие соседские беседы назывались “ческой” — продолжать ее шли компанией в трактир, где за чаем сидели два-три часа. Затем уходили в свои лавки. Побыв в них недолго, собирались кучками и опять уходили в трактир», — вспоминает один из мемуаристов³⁵.

Таким образом, трактир удовлетворял практически все мужские потребности: и в деловой активности, и в еде, и в обществе. Так же как и трактирный этикет и даже календарная обрядность³⁶, существовал целый пласт тем и сюжетов, бытовавших именно в “мужских домах”.

Прежде всего этикет регулировал отношения между служащими и публикой: при общем правиле “разговаривать с посетителями внимательно, с серьезным лицом, как бы слегка согнувшись для поклона”³⁷ во многих воспоминаниях приводятся факты того, что почтенные трактирщики и половые (метрботели) имели право на свою “гордость” («чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали “на чай”»³⁸). Некоторые трактирные фокусы с обчетом входили в поговорку и, как ни странно, не вызывали неодобрения со стороны обчитываемого. Например, московская поговорка “Ты мне Петра Кириллыча не заправай!” увековечила имя полового московского Егоровского трактира. Тот умел так облапошить посетителя, что товарищи-половые учились у него мастерству: “С вас-с... вот, извольте видеть. По рюмочке три рюмочки, по гривенничку три гривенничка — тридцать, три пирожка по гривенничку три гривенничка — тридцать, три рюмочки тридцать. Паниросок не изволили спрашивать? Два рубля

тридцать”³⁹. Подобная бессмыслица имела место не только в целях обсчета. М.И. Пыляев, описывая быт и привычки купечества, отмечал, что “купцы за особое качество ума считали бестолковость в разговорах: речь их иногда делалась совсем непонятной от излюбленной пословицы, которую они употребляли без всякой надобности, почти чрез несколько слов...”, чтобы «тем дать знать, что он, как говорится, “сам себе на уме”»⁴⁰. Общась при помощи нанизывания клише на несуществующую нить смысла, купец создавал иллюзию длительного и обстоятельного монолога. Кстати, это еще одно воплощение путаницы — словесная бессмыслица. Доведенный до максимума абсурд в разговоре свидетельствует об “оригинальности” мышления купца.

Особый сюжет в трактирной прозе составляли рассказы о трактирщиках-разбойниках, грабивших пьяненьких посетителей. О московском рестораторе И.А. Скалкине ходило очень много баек. Говорили: “Пьяным гостям — отец родной. Разденет, разует, причешет, спать уложит, с фонарем, чтоб не темно идти было, домой проводит. Благодетель московский. Ему, говорят, да приставу нашему — памятники, как Пушкиным, на бульварах поставят, ждут, когда оба помрут!”⁴¹. Также входили в легенды трактирные, а позднее ресторанные кутежи купчиков. В знаменитом “Эрмитаже” “из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Танти съели”⁴² за 2000 рублей.

По воспоминаниям московского купца И.А. Слонова, в подвале трактира Бубнова, в так называемой “бубновской дыре” «эти “троглодиты” (имеются в виду гостинодворские купцы. — И.В.) без воздуха и света чувствовали себя прекрасно, потому что за отсутствием женщины там можно было говорить, петь, ругаться и кричать громко и откровенно о самых интимных и щекотливых предметах»⁴³. То, что в литературоведении называется порнографией и считается специфически мужским жанром⁴⁴, с точки зрения антропологии можно рассматривать как часть мужского обряда посвящения и вообще как способ мужской идентификации. Поэтому вполне закономерно, что весьма частым аттракционом в трактире-ресторане было “купание в шампанском”, которое требовало «ванны, в которой должна была “плавать” среди волн вина какая-либо лишенная покровов женщина... но и этим озорничаньем, — по выражению полового Па-

влова, не ограничивалась фантазия организаторов. Были и другие, о которых неуместно говорить в печати»⁴⁵.

Поскольку трактиры и чайные предпочитали иметь свою публику, то в одних собирались купцы-гостинодворцы, в других издатели лубочной литературы (трактир Колгушкина на Лубянской площади) или антикварианты (трактир “Сокол” у Цветного бульвара, где “около пузатого раскаленного чайника велись бесконечные беседы о всякого рода диковинных вещах, чаще же всего о приключениях во время поездок в провинцию”⁴⁶).

В своем собрании московских легенд фольклорист Е. Баранов дает очень ценную информацию о контексте рассказа и о рассказчике: “собирая в Москве, по таким модным местам, как трактиры и харчевни, произведения устного народного творчества, я, в силу необходимости, избегаю делать дословные записи их, так как, в противном случае, вокруг меня создавалась бы атмосфера подозрительности и недоверия, и меня стали бы сторониться, как зачумленного”⁴⁷. Один из рассказчиков, 79-летний старик Кадушкин “за чаем в харчевне просиживал, когда не было работы, часа три и, угрюмо насупив густые черные с проседью брови, выдувал 5–6 чайников чаю, т. е. 30–35 стаканов, и уже после такой порции принимался за щи”⁴⁸.

В “трактирной” прозе и языке можно обозначить несколько особенностей: словесный этикет, регулирующий отношения между обслуживающей и клиентами, темы и характер бесед самих посетителей — профессиональные интересы и события, обсуждение “щекотливых” предметов, причем, как можно громче, рассказы о своих и чужих подвигах на почве кутежей. Хаос и распушенность трактирных нравов оборачивается принятым завсегдатаями порядком.

Представленные типы “мужского” речевого поведения (скабрезные рассказы, торговые байки, городские предания) дают основание предположить, что основной единицей коммуникации служит “рассказ”, сюжетное повествование, а главными темами — кутежи, любовные похождения, профессиональные интересы. Стереотип “мужского разговора” поддерживается в культуре отрицательным отношением участников к “женской логике” в повествовании и жизни. Тот самый старик Кадушкин высказывал весьма характерное для дальнейших изысканий отношение к женским рассказам: “Как примутся плести... Особенно бабы —

сороки эти. Они тебе настрекочат, только слушай. И откуда что берется. Сорочья порода. Только бы язык чесать”⁴⁹.

Далее я представляю круг тем, которые интересовали москвичек, и то, как и где они их обсуждали. Одной из важных сторон женской жизни были религиозные переживания. Именно женщинами во многом поддерживалось в доме соблюдение церковных правил и ритуалов. В купеческих староверческих семьях, по воспоминаниям очевидца, “женщины никому не прощали нарушения заветов старины, и ими, только ими и держалась дикая косность”. Поэтому разговоры частенько велись, например, о пророках и юродивых, которых И.Г. Прыжов поставил в один ряд с дурами и дураками. В начале прошлого века был известен пророк, позднее канонизированный как местночтимый святой Иван Яковлевич Корейша (могила в Храме Илии Пророка в Черкизове), основную часть его почитателей составляли женщины, которых он врачевал различными способами: “девушек сажает к себе на колени и вертит их; пожилых женщин обливает и обмазывает разными мерзостями, заворачивает им платье, дерется и ругается, без сомнения, придавая тому и другому символическое значение”⁵⁰; и предсказывал будущее — “предсказания его и записочки всегда загадочны до отсутствия всякого смысла; в них можно видеть все и ничего не видеть, а потому, объясняемые с известною целью, они постоянно сбываются”⁵¹. Объясняли записочки сами женщины: так, на вопрос богатой купчихи из Рогожской о предстоящей помолвке дочери был ответ “Доски”, купчиха недоумевала, «А мы отвечаем ей, — говорила... рассказчица, — что не знаем, а сами думаем: как не знать, известно, что значит “доска” — гроб. Так ведь и сделалось: дочь-то у купчихи умерла»⁵². Эта ипостась вербальной путаницы разворачивается в диалоге, когда бессмыслица а priori имеет глубокий символический смысл и требуется умение ее интерпретации.

Среди женщин также ходили рассказы о чудесном исцелении Иваном Яковлевичем безнадежно больных, об удачном устройстве им свадьбы или, наоборот, о предусмотрительном отказе в благословении брака с нечестным женихом и т. д.

Были и другие, менее почитаемые юродивые. Хотьковская затворница Марфа Герасимовна выходила из затвора чрезвычайно редко, но каждое ее появление истолковывалось как предвестие беды. Среди окрестных женщин начинался переполох: “и вот одна слышала звон на колокольне в полночь, другая сказа-

ла, что идет антихрист, пышет пламя из него и все-то поपालяет”⁵³. Когда же Марфа Герасимовна опять уходила в затвор, сиделась у своего окошечка, плела кружево и предсказывала, “Снова толпы купчих и барынь теснятся у ее окошечка, ожидая ее по часу или по два... пришли и приехали они к ней просить благословения на брак дочери и получить знамение, то есть кружевца”⁵⁴.

Каждое действие юродивой или пророка истолковывалось и обсуждалось сначала на месте, потом в кругу домашних и соседей. По наблюдениям лингвистов “женщины склонны к кооперативной беседе, в связи с чем задают больше вопросов и высказывают больше реплик-реакций, чем мужчины”⁵⁵. Свои личные религиозные переживания женщины тоже прежде всего обсуждали в домашней обстановке. В подтверждение приведу следующий эпизод из уже упоминавшихся “Рассказов бабушки”:

«В то время как сестры гостили у меня, однажды утром сестра Анна Петровна и говорит мне:

— Сегодня я видела во сне, что кто-то говорит мне: “Вот и 1812-й год, а ты еще не в монастыре”.

— Это потому, что ты думаешь об монастыре, оттого тебе про это и снится, — говорю я ей.

— Нет, сестра, это опять мне напоминание.

Надобно сказать, что она еще в 1811 году видела во сне страшный суд, и тогда это ее очень поразило, и она положила идти в монастырь. Во время неприятеля она опять подтвердила свое обещание, что, ежели Господь всех нас помилует от гибели, непременно вступит в монашество: и тут вскоре она этот сон-то и увидела”⁵⁶.

Обычное посещение приходской *церкви* давало мещанкам и купчихам пищу для обсуждения: “посещение церкви имело не только смысл религиозный, но служило и к поддержанию общественного инстинкта, давая возможность видаться с соседями, перекинуться словечком со знакомыми, узнать местную новость, а дамам, кроме того, рассмотреть или показать новый покрой мантильи или модного цвета платье... Всякое мелочное наблюдение было ценно и давало материал для расспросов и разговоров”⁵⁷. Участницами разговоров были дамы замужние, поскольку девушки в семьях “с укладом” не имели права голоса во всех делах, кроме подготовки приданого и мечтаний о суженом. На семейных праздниках также заправляли женщины. Главную роль на крестинах, свадьбах, похоронах чаще всего играла по-

жилая женщина, ведущая обряд: “говорила она иносказательно и все больше текстами; на купеческих свадьбах и поминках играла первую роль и садилась за стол с духовенством”⁵⁸.

При наличии общего репертуара фольклорных текстов в городе — церковных легенд или преданий о домах с привидениями, которые каждый уважающий себя горожанин обойдет стороной, существовали специфически “мужские” и “женские” тексты. Различие касалось тем и сюжетов, формы бытования и особенностей построения речи. Как было показано, мужское высказывание стремится к сюжету, повествованию, монологу, женское — к диалогу⁵⁹, обсуждению, обмену репликами. Основными темами женских бесед были предзнаменования, чудеса, устройства судьбы дочерей, т. е. их замужества, чудесные исцеления, моды и роды, болезни и смерти. “Женский разговор” как речевая конструкция состоит по большей части не из сюжетных высказываний, а чередований утверждений — сообщение одной требовало истолкования собеседницей, наблюдение — обсуждения, предсказания — расшифровки.

Представленные варианты “мужского” и “женского” текстов из московской жизни XVIII — начало XX в. с точки зрения стороннего наблюдателя действительно часто кажутся бессмысленными, недостоверными (в лучшем случае “иносказательными”). Тем не менее внутри традиции или субкультуры определены сферы бытования, способы интерпретации этих текстов, в которых носителями они воспринимаются (или должны восприниматься) как достоверные (слухи “колокола лить”), имеющие символический смысл (предсказания, истолкования и ведение обряда). Возможность *путаницы-бессмыслицы-заблуждения* возникает при разнице точек зрения, позиции наблюдателя сознательно отстраненной, не принимающей “правил игры”. Пространственная путаница возникает при незнании ориентиров, социальная — из-за неразличения границ между отдельными группами и субкультурами общества и незнания этикета, вербальная — при недоступности кода расшифровки текста. Важную роль устранения путаницы выполняет городской повествовательный фольклор. “Московский текст” дает способ распутывания — вживание в город, связывание своих мест-меток с личными маршрутами человека⁶⁰. Обобщая, можно сказать, что “московский текст” представляет собой путаницу для внешнего наблюдателя и комфортную среду для “своих”, ему свойственны диа-

логичность, интимность, эмоциональность и самоперебивы, т. е. качества женской речи. Похоже, что давнишние разговоры о “женскости” Москвы не лишены основания и бытие Москвы как “социального организма” (термин Н.П. Анциферова) подчинено законам “женской логики”.

П р и м е ч а н и я

- ¹ *Кржижановский С.* Штемпель: Москва // *Кржижановский С.* Воспоминания о будущем: Избранное из неизданного. М., 1989. С. 272.
- ² *Белоусов А.Ф.* Городской фольклор: Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1987. С. 19.
- ³ *Гиляровский В.А.* Москва и москвичи. Минск, 1980. С. 132.
- ⁴ Sydow von C.W. Kategorien der Prosa-Volksdichtung // Volkskundeliche Gaben John Meier zum 70. Geburtstage dargebracht. Berlin; Leipzig, 1939. А также: *Sydov C.W.* Selected papers of folklore. Copenhagen, 1948.
- ⁵ *Гиляровский В.Я.* Указ. соч. С. 122.
- ⁶ *Пыляев М.И.* Старая Москва. М., 1995. С. 310.
- ⁷ Там же. С. 311–312.
- ⁸ *Баранов Е.З.* Московские легенды. М., 1928. Вып. 1. С. 27.
- ⁹ *Виноградов И.В.* Указ: иллюстрированное повествование о нечистой силе. М.: Редакция журнала “Вокруг света”; “Мистерия”, 1995.
- ¹⁰ *Пыляев М.И.* Старая Москва. С. 74.
- ¹¹ *Баранов Е.З.* Указ. соч. С. 25–26.
- ¹² *Оловяшников Н.* История колоколов. М., 1912. С. 375–377. Цит. по: *Ашукин Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А.* Словарь к пьесам А.Н. Островского. М., 1993. С. 88.
- ¹³ *Гиляровский В.А.* Указ. соч. С. 41–42.
- ¹⁴ Вознесенский женский монастырь находился в Кремле с правой стороны от Спасских ворот и назывался Стародевичьим.
- ¹⁵ *Пыляев М.И.* Старая Москва. С. 411.
- ¹⁶ Церковь Великомученика Георгия, что в Яндове.
- ¹⁷ Преподобная Евфросиния (+ 1407, в миру Евдокия) — вдова благоверного великого князя Дмитрия Донского, принявшая незадолго до своей кончины монашеский постриг. В 1393 г. основала Вознесенский девичий монастырь в Москве, где под сном почивали ее мощи.
- ¹⁸ *Добровольский А.А.* Воспоминания // Московский приходской сборник. Вып. 1: Храм Николая Чудотворца в Кленниках. Издание “Московского журнала”. М., 1991. С. 153–157.
- ¹⁹ Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 133.
- ²⁰ Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 115.

- 21 Для изучения подземных ходов в начале XX в. была создана Комиссия по изучению подземной старины, первыми выводами которой были: "Подземные сооружения древности были фамильной или государственной тайной, и сведения о них в документы не заносились. Начали собирать предания, легенды, слухи и проверять их" (*Белоусова Т.* Москва подземная // Столица. 1991. № 37. С. 50.)
- 22 *Гиляровский В.А.* Указ. соч. С. 58.
- 23 *Богатырев П.И.* Московская старина // Московская старина. М., 1989. С. 122.
- 24 *Гуржий Т., Сатыренко А.* Легенды и мифы Москвы. М., 1997. С. 176.
- 25 *Пыляев М.* Старая Москва. С. 458.
- 26 Там же. С. 220, 227, 252.
- 27 *Гиляровский В.А.* Указ. соч. С. 178.
- 28 *Баранов Е.З.* Указ. соч. С. 20.
- 29 *Пыляев М.И.* Старая Москва. С. 92.
- 30 *Евстигнеева А.Л.* Особняк на Поварской: из истории Московского Дворца искусств // Встречи с прошлым: Сборник материалов ЦГАЛИ. М., 1996. Вып. 8. С. 122.
- 31 *Баранов Е.З.* Указ. соч. С. 23–24.
- 32 Дело, видимо, не столько в лучшей изученности Санкт-Петербургского текста (фольклорного в том числе), но и в заметности, активности фольклорных сюжетов. См: *Синдаловский Н.* Санкт-Петербургский фольклор. СПб., 1995.
- 33 *Богатырев П.И.* Указ. соч. С. 166.
- 34 *Шнейдер И.* Записки старого москвича. М., 1970. С. 80.
- 35 *Слонов И.А.* Из жизни торговой Москвы // Московская старина. С. 238.
- 36 Московские трактиры отмечали Масленицу как профессиональный праздник. Половые во всех московских трактирах подносили посетителям поздравительную карточку со стихами и рисунком на масленичный сюжет, в стихах содержалось напоминание о самих служителях:

Все служители мы рады,
 Что вам весело сейчас,
 И, конечно, уж награды
 Вам не жаль теперь для нас.
- Белоусов И.А.* Ушедшая Москва // Московская старина. С. 366.
- 37 *Иванов Е.П.* Меткое московское слово: Быт и речь старой Москвы. М. 1985. С. 293.
- 38 *Гиляровский В.А.* Указ. соч. С. 215.
- 39 Там же. С. 110.
- 40 *Пыляев М.И.* Старый Петербург. М., 1990. С. 339.
- 41 Записано в 1914 г. от встреченного в Москве ресторанный официанта. (*Иванов Е.П.* Указ. соч. С. 296).
- 42 *Гиляровский В.А.* Указ. соч. С. 103
- 43 *Слонов И.А.* Указ. соч. С. 231.

- 44 Кузнецов С. Литературная порнография: памяти умирающего жанра // НЛО. 1996. № 22. С. 428.
- 45 Иванов Е.П. Указ. соч. С. 288.
- 46 Там же. С. 110.
- 47 Баранов Е.З. Указ. соч. С. 39.
- 48 Там же. С. 12.
- 49 Там же. С. 11.
- 50 Прыжов И.Г. 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков и другие труды по русской истории и этнографии. СПб.; М., 1996. С. 34.
- 51 Там же. С. 35.
- 52 Там же. С. 44.
- 53 Там же. С. 65.
- 54 Там же.
- 55 Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 134.
- 56 Рассказы бабушки. С. 135.
- 57 Вишняков Н.П. Из купеческой жизни // Московская старина. С. 281.
- 58 Пыляев М.И. Старый Петербург. С. 350.
- 59 Наблюдения над употреблением слов "разговор", "беседа" и "диалог" представлены в статье И.Б. Левонтиной "Время для частных бесед". См.: Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.
- 60 Любопытно, что в Москве практически нет публичного променада (в XIX в. он был на Тверском бульваре), как, например, Невский проспект в Петербурге. Попытка его создания — строящийся комплекс на Манежной площади и декорация с Неглинкой в Александровском саду.

Кантата П.И. Чайковского “Москва”

(Не)случайный текст
в (не)случайном контексте

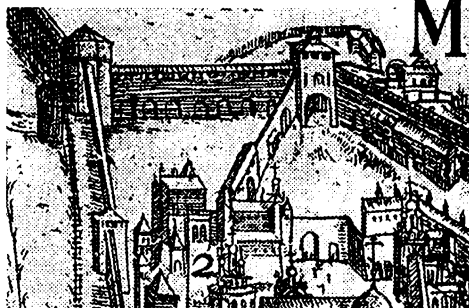
Но, будучи музыкантом, я в то же время гражданин города Москвы и поэтому люблю ее, как лапландец свои снега и дымные юрты, как мышь свою нору...

П.И. Чайковский (Русские ведомости. М., 1872. № 267)

Теперь спрашивается: есть ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды?

Я отвечаю: да, и человек этот г о с у д а р ь.

*П.И. Чайковский – П.Ф. фон Мекк.
Майданово, 5 марта 1885 г.*



Миф о доступности и изученности русской музыкальной классики сегодня не требует доказательств. В силу известных причин едва ли не каждая ее страница нуждается в пересмотре и снятии культурных напластований. И творчество

П.И. Чайковского, как самого “изученного” русского композитора, представляет в этом смысле особенно широкое поле деятельности. Совместный русско-немецкий проект нового критического полного собрания сочинений Чайковского — дело не одного поколения. А пока необходимо по кирпичику подвозить материал к этой грандиозной стройке, коей скромной задаче и посвящена настоящая статья.

Предмет нашего рассмотрения находится на периферии творчества мастера, в числе так называемых сочинений “на случай”, которые имели, как правило, официального заказчика в лице города, государства, разного рода обществ и пр. Назовем, к примеру, оркестровые “Торжественную увертюру на датский гимн” (1866), сочиненную к празднествам по случаю бракосочетания наследника царского престола (будущего царя Александр III) с датской принцессой Дагмарой, или хоровую кантату в память двухсотой годовщины рождения Петра Великого (1872), “Славянский марш” (1876), торжественную увертюру “1812 год” (1880) и др.

Кантата “Москва” на стихи А.Н. Майкова была написана в марте 1883 г. в Париже в связи с предстоящей в Москве коронацией Александра III. В переписке Чайковского произведение фигурирует как Коронационная кантата. На заглавном листе автографа партитуры надпись: “Москва, кантата, написанная по случаю коронации Его Императорского Величества. Стихи А. Майкова. Музыка П. Чайковского, 24 марта/5 апреля 1883. Париж”¹.

Под таким же названием кантата (1883 — хоровые голоса, 1885 — клавираусцуг, 1888 — партитура) была опубликована у постоянного издателя Чайковского П.И. Юргенсона. На характерной “васнецовско-билибинской” обложке партитуры изображен императорский трон Грановитой палаты в Кремле, где 15 мая 1883 г., в день коронации, во время торжественного обеда кантата была впервые исполнена (солисты Е.А. Лавровская, И.А. Мельников, хор и оркестр Императорской Московской оперы под управлением Э.Ф. Направника). На крыше трона, в “полулуковках” красуется заглавие “Москва”, а в раме, между столбами — аналогичный приведенному подзаголовок — Кантата для хора и оркестра (меццо-сопрано и баритон — соло), написанная по случаю коронации Его Императорского Величества Александра III. Стихи А. Майкова, музыка П. Чайковского”.

В советских изданиях, в том числе в полном собрании сочинений композитора (т. 27), все подзаголовки и оформление исчезли. А с ними исчез и подлинный текст Майкова, полностью переработанный А. Машистовым, что в отдельных изданиях, записях и даже справочной литературе не указывается (!).

Подлинник и эта “редакция” соотносятся между собой примерно так же, как старые даггеротипы со знаменитым памятни-

ком В. Мухиной, беспримерно увековечившей образ "советского" Чайковского. А нынешний интерпретатор и исследователь, если ему недоступны первые издания, имеет дело с произведением, утратившим не только контекст (что произошло, собственно, сразу после первого исполнения), но и текст². Это наглядно документирует современная запись кантаты "Москва" (Мелодия. STEREO C10 — 13859 — 60. Большой хор и Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижер Г. Рождественский) с удивительно подходящей в данном случае репродукцией упомянутого памятника на пластиночном конверте.

* * *

Несколько замечаний к истории создания сочинения. Напомню, что торжества, для которых оно предназначалось, проходили через два года после реального воцарения Александра III и в еще большей степени, чем обычно, должны были демонстрировать незыблемые устои самодержавия. По тщательности и разработанности ритуалов предпоследняя коронация могла поспорить разве что с коронацией последней, где размах празднества достиг невиданных масштабов. Достаточно сравнить источники, посвященные событиям, отделенным друг от друга тринадцатью годами: максимум 300 стр. в описании первого и шестого томов по 400—500 стр. каждый (!) в описании второго празднества³.

Не являлась исключением и музыка, представлявшая в своей светской части строжайше регламентированный черед "серенад" (концертов), парадных спектаклей, балов, "народных представлений" на открытом воздухе и пр.

Во время своего пребывания в Париже, в феврале—мае 1883 г., Чайковский получил один за другим три коронационных заказа, оказавшись главным поставщиком музыки для предстоящих торжеств. Первый — от Московской городской думы: Переложение хора «"Славься"» из оперы Глинки "Иван Сусанин". Передавая Чайковскому этот заказ, П.И. Юргенсон уточнял: "Славься" в форме куплетов (примерно 4-х). Для хора в 7500 человек из учебных заведений г. Москвы и оркестра струнного, т. е. не военного. Исполнение на Красной площади во время проезда государя в Кремль. *Хор унисоно*. Слова без упоминания о Сусанине. После "Славься" переход (ура, ура, вперед)

к гимну “Боже царя храни”. Все это нужно сделать очень скоро, так как это печатать надо”⁴.

“Исполнение состоялось 10 мая 1883 г. на Красной площади в Москве. На площади была выстроена эстрада для хора и оркестра... В объединенном хоре приняли участие все московские хоровые общества, крупнейшие церковные хоры, хоры учебных заведений, а также солисты — артисты императорских театров Москвы и Петербурга. Оркестр был соединенный — императорских театров и торгового училища С.В. Перлова. На эстраде стояло 10640 исполнителей. Организация подготовки хора была поручена Московской консерватории. Руководили хором: К.К. Альбрехт, И.В. Гржимали, Н.Д. Кашкин, Э.Л. Лангер, С.И. Танеев, В.Ф. Фитценгаген и Н.А. Губерт”⁵.

Второй заказ исходил от городского головы Москвы: “Торжественный коронационный марш” для исполнения на празднике в честь государя в Сокольниках, что и произошло 23 мая 1883 г. под управлением С.И. Танеева. Наконец, третьим и особенно ответственным был заказ на упомянутую кантату, исходивший от Коронационной комиссии в Петербурге. Оба последних заказа, в особенности на кантату, пришли весьма поздно — в начале марта — и должны были быть представлены не позже 17 апреля.

Пораженный срочностью и несвоевременностью свалившейся на него работы (также ограниченный определенными сроками — композитор заканчивал в это время оперу “Мазепа”), Чайковский писал об этом многим адресатам. Из этой переписки, в частности, выясняется причина возникшей спешки. После предварительных (еще в декабре прошедшего 1882 г.) переговоров с Чайковским в качестве предполагаемого автора кантаты возникла также фигура А. Рубинштейна. И только после отказа последнего вновь обратились к Чайковскому. Чайковский же не только не отказался но и, по своему обыкновению, выполнил работу точно (даже немного раньше) в срок. И в данном случае это было не только проявлением творческой дисциплины: в послужном списке композитора труднее найти незаказное, чем заказное сочинение (“...по заказу я готов хоть объявление провизора Чайковского (однофамилец композитора. — Т.Ф.) о мольной жидкости положить на музыку”)⁶.

Для такой беспримерной даже для Чайковского активности было, пользуясь его словами, два мотива: политический, или патриотический и личный.

О первом он писал, например, С.И. Танееву: "...по многим причинам нельзя и не политично отказать"⁷. Или еще раньше и отчетливее в письме к П.И. Юргенсону, в котором, вспоминая предысторию государственного заказа, между прочим, цитирует адресованный ему вопрос члена Коронационной комиссии г. Корганова: «"Надеюсь, что ты не нигилист?" Я сделал удивленное лицо и спросил, зачем ему это нужно знать. "А видишь, хорошо было бы по случаю коронации что-нибудь написать... этакое... торжественное... чтоб, знаешь... этак патриотизм... Ну, одним словом, напиши что-нибудь!"»⁸.

Вопрос, "не нигилист ли" Чайковский, если и не совсем серьезный, то и не совсем праздный. И дело не только в так и не рассеившемся до конца первомартовском дыме, но, вероятно, в сомнении, согласится ли он участвовать в очевидно официозном, направленном на "национальное" воодушевление акте. Сомнения были напрасными. То, что композитор усматривал в своем участии патриотический долг (хотя и без катковского верноподданничества), косвенно доказывает то рвение, с которым он защищал "отказавшегося" по причине занятости А. Рубинштейна. Русские, а вслед за ним и парижские газеты "распускали слух что Ант. Рубинштейн отказался написать кантату для коронации, не сочувствуя виновнику торжества", и Чайковский в день отъезда(!) из Парижа счел своим долгом послать опровержение в газету "Gaulois" "для того, чтобы распространение неосновательного слуха не бросило тени на патриотические чувства г-на Рубинштейна"⁹.

К патриотическому чувству самого Чайковского, как уже было сказано, примешивался еще и "личный" мотив, или, как он выразился в письме к Юргенсону, "основание бы т ь л и ч н о о б я з а н н ы м г о с у д а р ю..."¹⁰.

В другом, подробном и доверительном письме ("...кроме тебя и меня да еще двух лиц никто этого не знает") тому же адресату Чайковский рассказывает о безвозмездной ссуде государя в три тысячи рублей, после чего он "решился пользоваться всякими поводами, чтобы выплатить этот долг. Вот и представился повод первый"¹¹. Забегая вперед, следует сказать, что щепетильность композитора простиралась и на издание вещи: в письмах Юргенсону он отказывается от причитающегося ему гонорара¹².

Итак, вопреки всем обстоятельствам Чайковский был готов еще раз потрудиться во славу государя (напомним, что волею

судеб это было уже второе, после упомянутой “Увертюры на датский гимн”, сочинение, связанное с Александром III), а также отдать дань хотя и давно покинутому, но навсегда любимому им городу.

Перейдем теперь к самому сочинению, точнее сначала к месту его исполнения. Судя по старинной миниатюре из “Книги об избрании на царство Муханла Феодоровича...” (1670)¹³, Грановитая палата со времен первого Романова служила местом торжественной коронационной трапезы. И традиция эта тщательно сохранялась. “Обед Их Величеств в день Священного Коронования представляет одно из выдающихся коронационных торжеств, — читаем в специальном издании, посвященном истории российских восшествий на царство. — Главное в этом торжестве то, что Государь Император и Государыня Императрица имеют трапезу на тех же тронах (царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. — Т. Ф.), на коих Они восседали в Успенском соборе, и в тех же порфирах, в которых они пребывали в храме. Символическое значение этого обеда — единство и единение Царя с государством. Высокие сановники, как-то: верховный маршал, верховный церемониймейстер, обер-гофмаршал и другие служили у стола Царя и Царицы”¹⁴.

В этом же издании находим рисунки с изображением расписных сводов¹⁵, полок с устанавливаемым “во время Высочайших пребываний” серебром из Оружейной палаты и, конечно же, расположенного в “красном” углу Императорского трона “из резного темного дуба... под богатым бархатным балдахинном” с “золотою бахромой”, где восседала облаченная в старинные царские одежды с горностаевым подбоем, вкушавшая и внимавшая по строго разработанному церемониалу императорская чета¹⁶.

Как и всякая освященная древней традицией дворцовая церемония, царская трапеза в Грановитой палате носила, особенно для постороннего взгляда, ярко выраженный театральный характер. В отношении коронации 1883 г. мы располагаем весьма ценным наблюдением зрителя этой церемонии, госпожи Мери Кинг Веддингтон, описавшей свои впечатления в книге “Письма жены дипломата”¹⁷, где она прямо называет увиденное спектаклем (“You can’t imagine what a gorgeous sight it was, and the crowd below packed tight, all gaping at the spectacle”. Судя по имеющимся источникам, т. е. исходя из заведенного церемониа-

ла, г-жа Кинг могла наблюдать этот спектакль только из примыкающего к Грановитой палате так называемого "тайника"¹⁸. Однако, по ее словам, она вместе с другими иностранными гостями (предварительно накормленными также красочно описанным ею праздничным завтраком) была все же "на несколько минут" допущена в самую палату, после чего "император остался наедине со своим народом" ("We strangers were merely admitted for a few minutes to see the beginning of the meal, and then we retired, and the Emperor remained alone with his people").

Среди многих метко и не без доли иронии описываемых деталей — "византийская" роспись стен, великолепие деревянных тронов, древнерусская одежда с кокошниками и парчой, громадная рыба на блюде, которое несли двое слуг, охраняемая стражей супница и пр. ("I don't think we shall see anything more curious than that state banquet. I certainly shall never see again a soup tureen guarded by soldiers with drawn swords"); не ускользнула от внимания наблюдательницы и музыка. В те "несколько минут" это был "дежурный" полонез из "Ивана Сусанина" Глинки, который, как она пишет, все время сопровождал появление императорской четы. Однако дежурной, или, по определению хроникера, "банкетной музыкой", к коей относились также звучавшие после каждого тоста военные туши, как мы уже знаем, дело не ограничилось. На сей раз потребовалось нечто такое, что (под стать освеженным фрескам Симона Ушакова) соответствовало бы духу происходящего, пробуждало "патриотизм". Так, по-видимому, и родилась идея русской "тафелькантиаты", на создание которой были мобилизованы лучшие художественные силы страны.

Еще при предварительных переговорах Чайковский назвал в качестве своих возможных соавторов Я. Полонского и А. Майкова. В отношении первого он исходил из собственного опыта, так как текст Полонского послужил основой его кантаты в память двухсотой годовщины Петра Великого. Получив заказ на "Москву", он даже поначалу, в панике, хотел "самого себя обворовать"¹⁹. Но потом отказался от этой мысли не только из-за неимения под рукой старого сочинения, но, думается, в первую очередь из-за разительного несходства "антимзыкальной" (Ларош) кантаты Полонского с поступившим в его распоряжение уже "одобренным государем"²⁰ и обладающим бесспорными достоинствами текстом Майкова²¹.

Написанный рукой опытного “москвитянина”, автора известного перевода “Слова о полку Игореве”, а также нашумевшего в свое время стихотворения “На 25-летие царствования Государя Императора Александра Николаевича 19 февраля 1880 года”, этот текст был не только “одобрен”, но и, по всей видимости, специально отпечатан к предстоящим торжествам.

«В три часа, — пишет хроникер, — был назначен парадный обед в Грановитой Палате. Приборы на столах были поставлены так, что все обедавшие сидели лицом к Государю. У всякого прибора лежал лист, разукрашенный виньеткой, изображающей коронационное шествие и несение Царских регалий при Царе Михаиле Федоровиче, на другой странице был изображен гуслир, а ниже стихи Майкова “Слава”. Эти стихи, переложенные на музыку, исполнялись солистами оперы и оркестром»²².

Не совсем ясно, являлся ли упоминаемый “лист” полным текстом кантаты или только отрывком, так как в аналогичном месте “николаевской” главы “Дней...” сходное описание относится к меню обеда, выполненного по рисунку В.М. Васнецова, где также сделаны древнерусские заставки и, между прочим, фигура гуслиря; в этих заставках вырисован славянскую вязью (заглавные буквы отпечатаны киноварью) следующий текст:

Слава Богу на небе слава!
Государю нашему на сей земле
Слава! и т.д.²³

Так или иначе, в обоих случаях цитируется традиционный “народный” финал восьмистрофной композиции, мастерски “сложенной” из чередующихся “былинных” пятидольников, девяти-, одиннадцати-, и тринадцатисложников. Естественно льющееся поэтическое слово искупает при этом официозный характер клишированных мотивов “святой каменной Москвы” как “третьего Рима”, государя как “избранника господня”, повязанного “Константиновым мечом”, венчанного “венцом Мономаховым”, и пр.

То, что Чайковский высоко оценил кантату Майкова, следует из писем многим адресатам, в частности, особенно отчетливо Н.Ф. фон Мекк: “Мне очень помогло то обстоятельство, что слова кантаты, написанные Майковым, очень красивы и поэтичны. Есть маленькая патриотическая хвастливость, но месте с тем вся пьеса глубоко прочувствована и написана оригинально. В

ней есть свежесть и искренность тона, давшая и мне возможность не только отделаться от трудной задачи кое-как, лишь бы было соблюдено приличие, но и вложить в мою музыку долю чувства, согретого чудесными стихами Майкова"²⁴.

Скажем сразу, что Чайковский не ограничился "долей чувства", но весьма свободно воспользовался предложенными поэтом правилами игры. Начать с того, что "былинные" строфы легли в основу традиционного шестичастного вокально-инструментального цикла — хор, ариозо меццо-сопрано, хор, монолог баритона и хор, ариозо меццо-сопрано, финал — с соответственно преобразованной внутренней структурой каждой части. Ничтоже сумняшеся Чайковский выпрямляет былинный стих, укладывая его в рамки вполне тривиальных тактовых размеров:

<i>Майков</i>		<i>Чайковский</i>
1. 13	С мала ключика студена потекла река	1. 6/8
5(2)	Насажали тут князья тешиться	
2. 5	То не звездочка	2. 3/4
5	Засветилася	
5	В непроглядной тьме	
3. 9	Час ударил жданный, радостный!	3. 2/4
4. 11	Уж как из леса, леса темного	4. 12/8
9	Пали два Рима — третий стоит	6/8
5. 5	Мне ли, Господи	5. 4/4
6. 5(2)	По Руси пошел стук и гром большой	6. 4/4
7. 5(2)	И гряди ж Ты в путь, православный царь!	4/4
8. 9	Слава Богу на небе, слава!	4/4

Столь же свободно народно-песенные мелодические формулы смешиваются с оперно-романсными, как в ламентозном окончании хора "С мала ключика" или маршеобразной поступи хора "Час ударил". Подобающая случаю диатоника неизбежно затемняется типично "чайковскими" хроматизмами и секвенциями. Наконец, весь этот пестрый конгломерат сдабривается вполне оперной оркестровкой с характерными тремолирующими струнными, лирически персонифицированными инструментальными соло и пр. Своего рода апогей подобных стилистических вторжений в "древнерусский" текст являет собой знаменитое ариозо "Мне ли, Господи" (5), перекликающееся с арией Иоанны из "Орлеанской девы" (1878 — 1879) и особенно разительно, вплоть до детальных совпадений, с не менее знаменитым романсом По-

лины из “Пиковой дамы” (1890). Тот же меццо-сопрановый тембр, тот же “могильный” ми бемоль минор, то же мерное аккордовое сопровождение (в опере — фортепиано или клавесин, в кантате — струнные пиццикато), те же патетические возгласы и замирающие окончания фраз.

Вряд ли это совпадение случайно. Просто здесь, как и в других своих “национально” ориентированных опусах, например, ранних московских операх “Опричник” и “Воевода” или возникших позже церковных сочинениях, “Литургии Иоанна Златоуста” и, особенно, “Всенощной”, Чайковский создает произведение эклектическое, свободно соединяя национальный и европейский типы мышления²⁵. Причем в данном случае подобное соединение было как бы запрограммировано самой ситуацией, невольно весьма образно и точно описанной цитированным выше хроникером: «...гуслир со стихами “Слава”» — на одном полюсе и музыка, исполняемая “солистами оперы и оркестром” — на другом. Сюда же следует отнести и визуальный эффект, описанный уже в “николаевской” хронике, но косвенно относящийся и к трапезе 1883 г.: “При концерте во время торжественной трапезы в Грановитой палате вокальные исполнители (в 1883 г. в количестве 119 человек и в 1896 г. в количестве 128 человек. — Т.Ф.) были помещены в Грановитой палате на эстраде, а оркестр в пристройке, возведенной с наружной стороны Грановитой палаты”²⁶. Так же, как пристраивались эти сооружения, “пристраивалась” к традиционной церемонии и вполне современная для тогдашнего уха музыка.

Известно, что Чайковский был неоднократно критикуем за свою эклектику. Например, Ц. Кюн об “Опричнике” (1873): «Одна из самых неприятных, тоже весьма нехудожественных сторон творчества г. Чайковского — это смесь “французского с нижегородским”, смесь русской музыки с западной. Эта черта проявляется у него всюду... Музыка “Опричника” наполовину русская, заимствованная из народных песен, наполовину — плоско и грубо итальянская, вердиевского пошиба»²⁷. Или еще раньше Г. Ларош — о “Воеводе” (1869, в статье, стоившей двух лет разрыва отношений между двумя коллегами, однокашниками и друзьями. — Т.Ф.): «В общем чувствуется еще другой недостаток: г. Чайковский образовался слишком исключительно на немецких образцах; в его стиле явно слышится сродство его с новейшими подражателями Шумана, а отчасти и с Антоном Ру-

бишштейном. Каковы бы ни были недостатки "Воеводы" Островского, но во всяком случае несомненно, что эта пьеса проникнута чисто русским тоном. Музыка же г. Чайковского, колеблющаяся между немецким (преобладающим) и итальянским стилями, более всего чужда этого русского впечатления...»²⁸. Однако тот же Ларош, в свое время как член музыкального отдела Политехнической выставки заказывавший Чайковскому упоминавшуюся нами кантату к 200-летию рождения Петра (1872), писал в одном из писем: «Очень бы хорошо было, если бы ваше высокоблагородие написали вещь щегольскую в техническом отношении (так как на выставке и на вступительном концерте, где мы думаем дать кантату, будет, вероятно, много иностранцев, перед коими не мешает показать, что у нас не одни только "reizende National-Melodien", но и серьезное уменье)»²⁹. Другими словами, европейскую выучку русского композитора.

В Грановитой палате иностранцев хотя и не предполагалось (о чем Чайковский, впрочем, едва ли знал), но "уменья" было проявлено еще больше. Пресловутый эклектизм Чайковского сложился к тому времени в законченную эстетику, которую Б. Асафьев метко охарактеризовал как "типично московский путь (в отличие от пути "петербургского" или кучкистского с его, часто, правда, лишь на уровне деклараций, пуризмом в обращении с "национальным" материалом. — Т.Ф.) невыделения песенных интонаций из живой действительности, их вызывающей и их же перерабатывающей сообразно изменениям в самой действительности...»³⁰ Действительности, добавим от себя, неизбежно включающей и французское, и итальянское, и немецкое. И в произведениях на случай подобное соединение самых разных источников достигает порой прямой плакатности, как, например, в популярнейшем "1812 годе", где русский и французский тематизм уложены в рамки "немецкой", а la бетховенские "Битва при Витториа" или "Эгмонт" (то же трагическое соло гобоя во вступлении, тот же "поединок" в разработке, та же устремленность к ликующей мажорной коде), программной увертюры.

В кантате "Москва" обошлось без цитат и аллюзий, но подход в принципе остался тем же. Да и где, как не здесь (и далеко не в последний раз!), было вновь не стать на "московский путь". Где, как не в музыке, предназначавшейся для грандиозного, московского, как бы мы сейчас сказали, "китч"-парада, да еще на фоне соединившей все стили *московской* "декорации".

Достаточно взглянуть на документировавший въезд царя на Красную площадь снимок 1883 г.: через барочные Никольские ворота, мимо только что (1874–1883) отстроенного “под старину” Исторического музея, мимо классицистских Торговых рядов³¹ и дальше в Кремль к уже истинно старинным, пусть и подновленным, Успенскому собору и Грановитой палате.

24 мая 1883 г. Чайковский докладывал Н.Ф. фон Мекк: “Говорят, что кантата моя была отлично исполнена и что государь остался очень доволен”³². И это вполне объяснимо. Под бармами и горностаевой мантией билось, напомним, сердце поклонника Бетховена и Гуно, а из русских композиторов — Глинки и Чайковского. Чайковский и здесь, при соблюдении “национальных” рамок, сумел не пойти в разрез с этими пристрастиями. Достаточно того, что текст был “старинным”, музыка могла быть в привычном духе: как на состоявшихся назавтра парадном спектакле “Иван Сусанин” Глинки в Большом театре или придворных балах³³.

Итак, идея русской тафелькантиаты была блестяще реализована. Более того, как и своей Всенощной, только на светской почве, Чайковский создал прецедент дальнейшего, правда очень короткого, развития жанра. В упомянутом николаевском “Очерке...” читаем: **«Концерт при Торжественной трапезе в Грановитой Палате. 13 мая 1895 г., по всеподданнейшему докладу Управляющего Министерством ИМПЕРАТОРСКОГО Двора, последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление об исполнении артистами императорских театров по примеру 1883 г. (курсив мой. — Т.Ф.) во время ВЫСОЧАЙШЕГО стола в Грановитой палате, в день Св. Коронования, Торжественной кантаты... Кантата состояла из семи номеров — хора, арии меццо-сопрано, арии баса, дуэта (сопрано и меццо-сопрано) с хором, арии тенора, трио (сопрано, меццо-сопрано и тенора с хором) и финала (также посвященного Москве — Т.Ф.). Продолжительность исполнения всех 7 номеров Кантаты рассчитано было на 32 минуты (на 8 минут дольше, чем “Москва”, продолжающаяся, судя по современной записи, 24.48 минут. — Т.Ф.)»**³⁴. В качестве авторов на тот раз были приглашены В.А. Крылов и А.К. Глазунов, хотя и петербуржец, но композитор, безусловно, чайковской складки, идущий вслед за своим предшественником по “московскому пути”.

Из другого источника выясняется: что “тафелькантиатой” во время последней коронации не ограничились. На “Посещение

Их Императорскими Величествами Московской Городской Думы" была исполнена "Коронационная приветственная кантата", специально для этого случая написанная М.М. Ипполитовым-Ивановым. Слова для нее написаны г. В. Буслаевым. Вот они: "Привет Тебе, Отец Державный, Прими привет Руси святой" и т. д.³⁵

Не обошлось на коронации и без Чайковского. Фрагменты из его произведений звучали во всех без исключения "бальных и банкетных музыках", утренней серенаде и пр., в то время как кучкисты (при полном игнорировании Мусоргского (!)) представлены были лишь выборочно³⁶. Как мы видим, монаршие вкусы, как и вкусы широкой публики, представителями которой они являлись, менялись очень медленно.

Возвращаясь к событиям 1883 г., следует сказать, что кантата "Москва" не только послужила "примером" для будущего коронования, но и не прошла бесследно для ее создателя. Хотя Чайковский, по своему обыкновению, постарался дистанцироваться, отсиживался, по его словам, "боясь коронационной суеты"³⁷ во время московских торжеств (к которым он, кстати, и не мог быть допущен), в Петербурге и даже, как мы помним, отказывался от вознаграждения. Последнее, однако, все же последовало: за коронационный марш — 500 рублей, за кантату, как и многим подданным, "натурой" — перстень с бриллиантом стоимостью в 1500 рублей³⁸. Точно такой же перстень — по уже отработанной "таксе"! — получил и Глазунов.

Оба вознаграждения вызвали досаду и даже обиду композитора, писавшего Юргенсону: "Я марш кончил и на днях, просмотрев его еще раз, вышлю. Насчет платы, несмотря на твои насмешки, остаюсь при прежнем решении. Да по правде сказать, если город М о с к в а заказывает марш по случаю коронации, то следует платить не пятьсот, а пять тысяч рублей. <....> я только оттого и взялся писать марш, что воображал, что это в самом деле г о р о д у Москве нужно. <...> никоим образом не могу брать этой нищенской подачки, в коей, если б и нуждался, все-таки вижу нищенскую подачку.

Кантату я тоже кончаю и вышлю вместе с маршем. Я очень доволен ею и хочу, чтобы ее в будущем сезоне спели в Музыкальном обществе. Буду в свое время просить об этом. А тебе издавать ее не советую, хотя и не препятствую. Клавираусцуг сделан в партитуре. И это я написал ценой страшного усилия и бессонных ночей — даром. Никогда я так не нуждался в деньгах и

никогда еще не задирал так высоко носа своего. Прекурьюзно". Или много позже, по поводу кантаты: "Вспомнил, как нищенски они вознаградили меня (ибо, по правде сказать, лучше бы было ничем не награждать меня, чем этим перстнем)..."³⁹

Затянувшаяся история с закладом перстня, потерей закладной, выкупом Н.Ф. фон Мекк "драгоценного подарка в тысячу пятьсот рублей" (как он был назван в сопроводительной официальной бумаге) дополняют не слишком украшающую власти картину⁴⁰. Вместе с тем именно с кантаты "Москва" начинается новый этап взаимоотношения Чайковского с властью, точнее с государем, который был неизменно "очень милостив и внимателен"⁴¹. Прямо государю приписывает он заботу о состоявшейся непосредственно после коронации постановке "Мазепы"⁴². Позже, "согласно данному... государю обещанию", пишет ряд церковных опусов, в чем Александр знал толк и неоднократно с ним обсуждал⁴³. Царь неизменно посещал оперные и балетные постановки Чайковского, где композитор был ему представлен и вел с ним беседы. Наконец в 1888 г. Чайковскому в числе немногих деятелей русского искусства была ссужена пожизненная пенсия.

Все это не могло не углубить ответное личное отношение Чайковского к царю, что особенно четко прослеживается в переписке с Н.Ф. фон Мекк 80-х годов. Например, сразу после исполнения кантаты "Москва": "Известия из Москвы — благополучный исход коронационных торжеств — радует сердце мое. Признаюсь, что мне лестно и приятно было быть заглазным участником этих торжеств в качестве автора кантаты. Я питаю к государю тем большую симпатию и любовь, что мне известно из достоверных источников, что он, с своей стороны, благоволит к моей музыке, и я очень рад, что на меня пал жребий положить на музыку кантату". Или в письме, вынесенном в эпиграф настоящей статьи (продолжение цитаты): "Он произвел на меня обаятельное впечатление как личность, но я и независимо от этих личных впечатлений склонен видеть в нем хорошего государя". Или тремя годами позже: "Государь назначил мне пожизненную пенсию в три тысячи рублей серебром. Меня это не столько еще обрадовало, сколько глубоко тронуло. В самом деле, нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который придает значение не только военной и чиновничьей деятельности, но и артистической"⁴⁴.

Классическая формула "поэт (то бишь композитор) и царь" имела, однако, свои границы. Когда в одном из ответных писем Н.Ф. фон Мекк решила проверить достоверность слухов о присвоении Чайковскому "со времени коронации" звания "п р и д в о р н о г о к о м п о з и т о р а", за которое "он также получает "по три тысячи рублей в год", он это с жаром опроверг⁴⁵. Впрочем, едва ли царь был причастен к распространившемуся слуху. Как и лучшая часть русской публики, Александр наверняка сознавал — надо отдать ему должное, — что звание "придворный" никак не вяжется с именем "нашего первого композитора" (С.И. Танеев). Независимо от того, писал ли он что-то "для двора", как это произошло с кантатой "Москва", или адресовал свою музыку другому заказчику.

Заметим в заключение, что и сам Чайковский не видел здесь кардинальных различий. Так, вопреки собственным приговорам "написана на случай... не имеет никакой будущности... издавать не советую"⁴⁶ и пр. — кантата "Москва" была для него дорогим сочинением, которым он, несмотря на все перипетии, в целом остался доволен⁴⁷ и стремился реализовать в нормальных концертных условиях⁴⁸.

И хотя в сравнении со ставшими впоследствии весьма популярными увертюрой "1812 год", Славянским или даже Коронационным маршами "прижизненная" исполнительская биография "Москвы" довольна скромна (последовавшие сразу после коронации несколько исполнений в Петербурге дополняются лишь случайными исполнениями пользовавшегося особой любовью ариозо "Мне ли, Господи"⁴⁹, Чайковский до самого последнего времени не упускал свое детище из поля зрения. Так, уже в 1892 г. он рекомендовал его своему американскому антрепренеру Томасу⁵⁰.

Но, пожалуй, самый красноречивый отзыв о кантате "Москва" Чайковский оставил в известном письме к Великому князю Константину Константиновичу от 1 мая 1890 г. Полностью отведенный от связанных с коронацией эмоций, он избрал этот опус в качестве *образца* для ставших крылатыми рассуждений о музыкальном ремесле: «Весьма рад буду побеседовать у Вас с А.Н. Майковым насчет ремесленного отношения к делу в сфере художества. С тех пор как я начал писать, я поставил себе задачей быть в своем деле тем, чем были в этом деле величайшие музыкальные мастера... Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендель-

сон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, т. е. изо дня в день и, по большей части по заказу... музыкант, если он хочет дорасти до той высоты, на которую, по размерам дарования, может рассчитывать, должен воспитать в себе ремесленника... Большинство моих собратий, например, не любит писать по заказу; я же никогда так не вдохновляюсь, как когда меня то или другое просят сделать, когда мне назначают срок, когда с нетерпением ожидают окончания моего труда. По поводу Майкова, я вспоминаю, как мне пришлось писать "Коронационную кантату" на его текст (далее следует подробное изложение уже известных нам событий. — Т.Ф.) ...В виду всех упомянутых обстоятельств, я считал невозможным принять предложение, возмущался краткостью срока... и в то же время, держа в руках тетрадь майковских стихов, заглядывал в них, невольно проникался вызываемым ими настроением и тут же, чтобы не забыть, карандашом на тетради записал все главные музыкальные мысли, пришедшие мне в голову. Мысль, что это нужно, что если не я, то коронационной кантаты, вероятно, вовсе не будет — подействовала на меня до того магически, что раньше срока кантата была готова, отослана, и я считаю ее одним из самых удачных своих сочинений"¹.

Преувеличение, дабы убедить корреспондента, причастного царскому дому, да еще в преддверии предстоящей с ним и А. Майковым встречи? Возможно. Трудно ожидать объективности от художника. Но все же не лишне напомнить эту его самооценку, представься вновь "случай" обратиться к пусть "не самому удачному", но, несомненно, заслуживающему интереса опусу П.И. Чайковского — кантате "Москва".

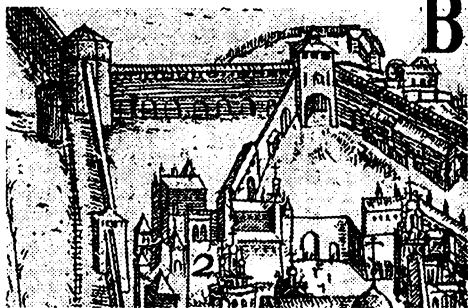
П р и м е ч а н и я

- ¹ Чайковский П.И. Полн. собр. соч. М., 1960. Т. 27. От редакции. С. XIII.
- ² Кантата "Москва" не единственный пример такого рода. В том же ПСС торжественная увертюра "1812 год" опубликована с заменой цитируемой Чайковским мелодии русского государственного гимна "Боже царя храни" на тему хора "Славься" из "Ивана Сусанина" Глинки. В таком виде, без ссылок на первоисточник сочинение издавалось и исполнялось до самого последнего времени. В справочной литературе сведения о замене также отсутствуют.

- 3 Очерк деятельности министерства Императорского двора по приготовлениям и устройству торжеств священного коронования их императорских величеств в 1896 году. Т. 1 – 6. СПб.: Издание Коронационной канцелярии, 1896 (Далее: Очерк...).
- 4 *Чайковский П.И.* Переписка с П.И. Юргенсоном: В 2 т. М., 1938. Т. I С. 276 (Далее: ЧЮ).
- 5 Музыкальное наследие Чайковского: Из истории его произведений М., 1958. С. 488 – 489.
- 6 ЧЮ. С. 154.
- 7 *Чайковский М.* Письма П.И. Чайковского и С.И. Танеева М., (1916). С. 100 (Далее: ЧТ).
- 8 ЧЮ. С. 281.
- 9 *Чайковский П.И.* Полн. собр. соч. Т. 12. Литературные произведения и переписка. С. 164. Опровержение Чайковского было напечатано в "Gaulois", в номере от 23 мая 1883 г.
- 10 ЧЮ. С. 281.
- 11 Там же. С. 291.
- 12 Там же. С. 291, 304 – 305.
- 13 Памятники архитектуры Москвы: Кремль, Китай-город. Центральные площади. М., 1982. С. 274.
- 14 Дни священного коронования: Издание товарищества Скоронепчатни А. Левенсонъ. М., 1896. С. 184 (Далее: "Дни...").
- 15 Незадолго до коронации, а может быть и в связи ней, по высочайшему повелению Александра III, палехские иконописцы братья В.В. и И.В. Белоусовы восстановили старые фрески Грановитой палаты, воспользовавшись описью сюжетов, составленной расписывавшим ее в конце XVII в. Симоном Ушаковым. Об этом см.: Памятники архитектуры Москвы... С. 331.
- 16 Дни... С. 89, 116, 180 – 181.
- 17 Letters of a Diplomat's Wife, 1883 – 1900. L., 1903. 67 – 70.
- 18 Дни... С. 79, 174.
- 19 ЧЮ. С. 281.
- 20 Там же. С. 289.
- 21 Издано под названием: КАНТАТА, исполнявшаяся на парадном обеде в день венчания на царство Е. И. В. Государя Императора Александровича // *Майков А.Н.* Полн. собр. соч. Изд-во А.Ф. Маркс. СПб., 1914. Т. 2. С. 197.
- 22 Дни... С. 79.
- 23 Там же. С. 186.
- 24 *Чайковский П.И.* Переписка с Н.Ф. фон Мекк. М., 1936. Т. III. С. 166 – 167 (Далее: ЧМ).
- 25 Композитор сам неоднократно признавался в своем эклектизме. Например, в письме брату Модесту по поводу Всенонной: "Я хочу не столько теоретически, сколько чутьем артиста до некоторой степени отрезвить церковную музыку от чрезмерного европеизма. Я буду эклектиком... Но всенонная будет гораздо менее европейская, чем моя обедня (Литургия Иоанна Златоуста. – Т.Ф.). Здесь я буду перелазателем с обихода более, чем свободно творящим художником" (*Чайковский П.И.* Полн.

- собр. соч. Т. 10. С. 120). В самом этом рассуждении отчетливо отражается слабость, а точнее сила, Чайковского, в сущности никогда, даже при соблюдении самых строгих рамок не прекращавшего быть "свободно творящим художником".
- 26 Очерк... Т. 4. С. 77; см. также с. 8–11. Приложение. Чертеж 105.
 - 27 Цит. по: *Домбаев Г.* Творчество Петра Ильича Чайковского в материалах и документах. М., 1958. С. 44.
 - 28 Там же. С. 24.
 - 29 Цит. по: *Чайковский М.И.* Жизнь Петра Ильича Чайковского М.; Лейпциг, 1900. Т. I. С. 377.
 - 30 *Асафьев Б.* "Чародейка". Опера П.И. Чайковского // *Асафьев Б.В.* Избранные труды. М., 1954. Т. 2. С. 163.
 - 31 Russia in original photographs, 1860–1920. Marvin Lyonsed. A. Wheatcroft. L.; Henley, 1977. P. 67.
 - 32 ЧМ. С. 189.
 - 33 Аналогичной была позиция Чайковского и в отношении современной ему духовной музыки. Например, в уже цитированном письме М. Чайковскому: "Историю не переделаешь; точно так же невозможно воссоздать то пение, которое слушал Иоанн Грозный в Успенском соборе, как невозможно переделать современных прихожан этого собора во фраках, мундирах, шиньонах и немецких платьях в бояр, посадских, опричников и т. д." (*Чайковский П.И.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 119–120). В Грановитой палате, правда, слегка "переделывали", но на уровне маскарада.
 - 34 Очерк... Т. 4. С. 75.
 - 35 Дни... С. 226.
 - 36 Очерк... Т. 4. С. 77–88.
 - 37 ЧМ. С. 177; см. также с. 188.
 - 38 Сведения о коронационных награждениях в кн.: *Российские самодержцы, 1801–1917.* Александр III (В.А. Твардовская) М., 1994. С. 259.
 - 39 ЧЮ. С. 293; ЧМ. С. 249.
 - 40 ЧЮ. С. 356; ЧМ. С. 202–203, 213, 225, 229, 234, 240.
 - 41 ЧМ. 530.
 - 42 Там же. С. 209, 265.
 - 43 Там же. С. 352, 409.
 - 44 Там же. С. 185, 346, 513. Упоминания о благосклонности государя см. также в других письмах: с. 263, 337, 448, 470 и др.
 - 45 Там же. С. 513–514.
 - 46 ЧЮ. С. 293, 304.
 - 47 ЧТ. С. 100–101; см. также: ЧЮ. С. 293.
 - 48 ЧЮ. С. 307, 357.
 - 49 *Домбаев Г.* Указ соч. С. 280–281.
 - 50 ЧЮ. Т. II. С. 247.
 - 51 *Чайковский М.И.* Жизнь Петра Ильича Чайковского Т. III. С. 369–370.

Арбатская цивилизация и арбатский миф*



В нижеследующих заметках слово “Арбат” используется в соответствии с установившейся традицией в двух значениях — как наименование улицы длиной, примерно, в 850 м, соединяющей Смоленскую площадь на Са-

довом кольце с Арбатской площадью на Бульварном кольце, и как наименование района, для которого улица Арбат играет роль организующей оси. Границы этого района устанавливаются по-разному. В данной работе в силу причин, которые станут ясны в ходе дальнейшего изложения, под арбатским районом понимается территория, ограниченная Пречистенкой, Садовыми, Спиридоновкой и бульварам¹.

* Настоящие заметки представляют собой расширенный и переработанный текст доклада, который автор читал в 1983 – 1985 гг. во многих научных и общественных учреждениях Москвы. Доклад был отпечатан, и машинописные копии его широко ходили по рукам. В последующие годы значительные и произвольно измененные пассажи из него появлялись в ряде публикаций без указания на источник. Считаю своим долгом предупредить об этом читателя.

В середине истекающего столетия — точнее в третьей его четверти — район Арбата стал маркированным, т. е. отличным от других районов города и окруженным особой духовной аурой. Факты, которое об этом свидетельствуют, бесчисленны. Напомним некоторые. С 1966—1967 гг., когда началось строительство Нового Арбата и снос многих его переулков, и вплоть до середины 1980-х годов, когда стала реконструироваться сама улица, так называемый Старый Арбат, слово “Арбат” употреблялось необычайно часто, причем в особом эмоциональном ключе. Именно тогда по радио часто исполнялась песня про “Арбатских окон негасимый свет”, художники и кинорежиссеры, желая создать лирический образ старой Москвы, воспроизводили виды арбатских переулков, появились мыло и бритвенный крем “Арбат”, ресторан “Арбат” и вино “Новоарбатское”, газеты, особенно местные, московские, стали уделять Арбату все больше внимания. В “Московской правде”, например, только за 1982—1983 гг. напечатаны десять обширных очерков-“подвалов”, посвященных Арбату. Издания об этом районе, сначала в виде статей, а потом и в виде книг, затмили по числу остальные районы, так что постепенно образовалась довольно обширная библиография Арбата. Из принципиально важных публикаций здесь могут быть упомянуты детальнейшая роспись арбатских домов и их населения, составленная В.В. Сорокиным (“Наука и жизнь” 1985. № 7, 8), два, посвященных Арбату, номера “Декоративного искусства СССР” (1981. № 6; 1986. № 12), материалы “Досье Литературной газеты”, посвященные, как значилось на титуле, 500-летию “знаменитой улицы Москвы”, и ряд других публикаций.

Сложившееся вокруг Арбата общественное настроение особенно ярко проявилось в связи с реконструкцией улицы, в 1984—1987 гг. на бесчисленных собраниях “старых арбатцев” и “общественности города” звучали настойчивые требования сохранить в неприкосновенности “наш Арбат” и бурные протесты против реконструкции (в первую очередь против украсивших улицу фонарей, почему-то вызывавших особое раздражение старожилов)².

Ощущение особой духовности арбатского района отчасти исходило от многочисленных литературных, но главным образом мемориальных музеев, которых здесь всегда было много, а в интересующие нас сейчас годы стало еще больше, — Пушкина, Лермонтова, Герцена, Аксакова, Скрябина, Андрея Белого, Лу-

начарского, Голубкиной. В каждом из них имелся культурно-массовый отдел, регулярно проводивший лекции, выставки и встречи, собиравшие не такие уж малые аудитории и тоже укреплявшие сознание особенности здешних переулков. Наконец, сказывалось влияние книг и очерков эмигрантов, которых начали широко издавать в перестроечные годы. Эти люди покинули Арбат в пору революции и гражданской войны и издалеко воссоздавали элегический и притягательный его образ. Среди этих публикаций, пожалуй, самым заметным образом сказались на восприятии Арбата в особом его обаянии роман М. Осоргина "Сивцев Вражек" и очерк В. Зайцева "Улица Святого Николая".

Очень важно понять, однако, что ни к архитектурно-исторической или мемориально-краеведческой стороне дела, ни вообще ко всему, что могло бы быть выявлено на уровне знаменательных событий и знаменитых имен, тогдашняя аура Арбата и суть общественного настроения, связавшегося с ним в середине XX столетия, сведены быть не могут. Район Тверской и Малой Дмитровки, центр города, в широком смысле слова, Чистые пруды с переходом на Басманные улицы, на Разгуляй и в Лефортово представлены отнюдь не меньшим количеством великих имен и памятников культуры (а что касается историко-архитектурных достопримечательностей, то и несравненно большим; их на Арбате вообще очень немного). Аура Арбатского района этих лет и его исключительное значение в истории, жизни и культуре города, времени и страны имели в принципе другое происхождение и другой характер.

Сначала несколько слов о характере, а потом, уже подробно и развернуто, о происхождении.

Культ Арбата в 60–80-е годы если и не был создан, то во многом оформился под воздействием песен Булата Окуджавы, что с самого начала придало ему характер не столько историко-архитектурный или мемориальный, сколько поэтический и лирический. "Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание / / Ты — и радость моя, и моя беда". "Живописцы, окуните ваши кисти / / В суету дворов арбатских и в зарю". "По Сивцеву Вражку проходит шарманка, / / Когда затихают оркестры Земли". "Арбатство, растворенное в крови, / / Неностребимо, как сама природа". Этот тон сквозил во всех разговорах об Арбате, даже самых профессиональных и академических, образуя их не-

высказанную, но окрашивающую подоснову. 30 января и 12 февраля 1986 г. в Доме архитектора состоялись совещания по Арбату. Темой их была оценка реконструкции, которой подверглась улица. Выступали архитекторы, историки, социологи. Но в большинстве выступлений сквозь логическую аргументацию звучал лейтмотив: “Люди, которые живут на Арбате, — это хозяева Арбата. Старые люди, которые здесь живут, — это местные божества”. “Пока интеллигенция не выступает ядром, вокруг которого возникает территориальная общность, ничего путного получить не может”. На этих совещаниях «люди, выросшие на Арбате, спорили об “исторической подлинности”. Речь шла не о консервации прошлого, а о его опознании. Не о деталях и частностях, а о той целостной образной структуре, которая, когда она есть, создает индивидуальность, как бы магнитное поле, короче “тот самый” Арбат»³. Примерно в те же годы в “Правде” было напечатано письмо студента, приехавшего в Москву издалека учиться, жившего в общежитии и каждое воскресенье приходившего на Арбат, чтобы “подышать его воздухом”. Сержант милиции, несший службу на Арбате, говорил о том, как он счастлив, переживая во время каждого дежурства “прелесть далеких времен и совершенно новую красоту современного градостроительства”⁴. Таких отзывов — бесчисленное количество. Задача заметок, предлагаемых вниманию читателя, — “поверить алгеброй гармонию”, попытаться проанализировать это ныне уже ушедшее умонастроение и выявить его социокультурный смысл, постаравшись не упустить то, что, не укладываясь в рамки такого анализа и такого смысла, продолжает в них жить. Прежде всего — о его происхождении, мнимом и реальном.

Два пролога

Первый пролог -- отрицательный: что в прошлом этого района не может служить объяснением той маркированности и той культурной ауры, которые впервые за долгую историю выпали на его долю в середине нашего века? Не имеют прямого отношения к этой ауре и этой маркированности ни великие имена русской классической литературы XIX в., обычно упоминаемые в связи с Арбатом, ни аристократические фамилии, которые подчас фигурируют в списках здешних домовладельцев. И те, и

другие в той мере, в какой они реально связаны с Арбатом, важны для *краеведческой* характеристики района в ряду других улиц и переулков Москвы. Попытки обосновать таким образом особое место Арбата в *культурном самосознании города* материалом не подтверждаются. В книге, посвященной “культурному тексту” Москвы, на этом положении стоит остановиться более подробно.

Если полагать началом эры классической русской культуры вообще и литературы в частности рубеж XVIII – XIX вв., то начинать приходится с *Карамзина*. Он прожил в Москве 33 года, с 1783 по 1816 г., преимущественно возле Кремля, на Никольской, и никаких связей с Арбатом не обнаруживает. *Грибоедов* до 1812 г. жил в родительском доме на углу Новинского бульвара и Девятинского переулка; во время пожара Москвы дом сгорел и в 1816 г. восстановлен. Во время наездов в Москву писатель останавливался либо там же, либо у своего друга С. Бегичева на углу Мясницкой и Малого Харитоньевского, т. е. вне арбатского района.

Особое значение для обсуждаемой темы имеет топография московских адресов А.С. *Пушкина* и тех домов, где он много и часто бывал. Связи его с районом Арбата представляются на первый взгляд обильными и тесными. Как сейчас выяснено, еще в 1807 – 1809 гг. семья Пушкиных снимала квартиры сначала в Кривоарбатском, потом в Хлебном переулках⁵. На Арбате, 53 квартировал Пушкин в 1831 г., в первые месяцы после свадьбы, состоявшейся в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, а до этого прожил зиму 1826/27 г. у С.А. Соболевского на Собачьей площадке. В арбатских местах жили его близкие друзья: И.И. Пущин – на Спасоесковском, П.В. Нащокин – на Большом Николопесковском, позже – на углу Гагаринского и Нащокинского переулков (здесь Пушкин прожил две недели в 1831 г.) и его добрые знакомые – такие, как Е.П. Потемкина, на углу Пречистенки и Мансуровского переулка, или С.Д. Киселев в доме № 27 по Поварской.

Достаточно, однако, поместить эти данные в более широкий контекст, чтобы стало очевидно, насколько ограниченное место они занимают в биографии поэта, как мало дают оснований говорить об особенно тесных связях его именно с интересующим нас районом. Из 12 первых лет жизни, проведенных Пушкиным в Москве (1799–1811) и особенно важных для формирования

детских впечатлений и образа города, два года прошли, действительно, в переулках Арбата, но остальные десять — на Кукуе и “у Харитонья в переулке”. У Нащокина он жил не только в Гагаринском, но и в Воротниковском — в районе Малой Дмитровки, и бывал не только в Николопесковском, а и в Большом Десятинском — на Пресне и на Остоженке. Из друзей Пушкина Пушкин жил на Арбате, но Пушкин никогда здесь его не навещал, другой же его ближайший московский друг, П.А. Вяземский, у которого он, по свидетельству А.Я. Булгакова, был “как дома”⁶, жил в собственном доме на улице Станкевича (Большой Чернышевский переулок, неподалеку от Университета). Пушкин, действительно, впервые читал “Бориса Годунова” у Соболевского на Собачьей площадке, но второе и третье чтения, несравненно более многолюдные, состоялись у Веневитинова в Кривоколенном переулке, т. е. на Мясницкой. Основным местом жительства Пушкина в Москве была гостиница Обера (позже Коппа) в Глинцевском переулке на Тверской, где он провел в общей сложности около девяти месяцев — больше, чем в любом доме Москвы.

В корпусе его сочинений и писем Арбат упоминается 10 раз, но все 10 без оценки и только в адресах. 130 пушкинских адресов в Москве, зарегистрированных Н.М. Волович⁷, распределяются следующим образом: Немецкая слобода — Басманные — Чистые пруды — 19 адресов (15%), окраины и пригородные имения — 24 (19%), Арбат (район и улица) — 27 (20%), центр города — 60 (46%). В топографии пушкинской Москвы, таким образом, Арбат играет существенную, но отнюдь не исключительную роль и, главное, не обнаруживает никакой особой ауры, никак не противопоставляется другим районам города. Лирически окрашенные топонимы, вроде знаменитых строчек “То ли дело быть на месте / По Мясницкой разъезжать”, применительно к Арбату, насколько можно судить, не обнаруживаются.

Гоголь прожил в Москве в общей сложности шесть лет, из них половину времени (с декабря 1848 г. до смерти в феврале 1852 г.) — у Арбатских ворот, в доме сенаторши Талызиной (Никитский бульвар, 7). В конфликте, разыгравшемся после его смерти и касавшемся местоположения церкви, где его надлежало отпевать, при желании можно усмотреть некоторую маркированность арбатских мест, но только при большом желании, и маркированность далеко не очевидную. Дело в том, что Аксако-

вы и их славянофильские друзья настаивали на отпевании покойного писателя в церкви Симеона Столпника, в самом начале Поварской, почти у Арбатских ворот, тогда как Грановский и его друзья-западники хотели, чтобы панихида и отпевание прошли в Университетской церкви на Моховой, возле Манежа и Кремля (где оно и состоялось). Аксаковы, Хомяков, П. Киреевский мотивировали свое желание тем, что прихожане Университетской церкви — в основном профессора, студенты и сановная публика околоремлевского района, тогда как Гоголь — народный писатель, принадлежит народу, и именно народ будет окружать его при прощании в церкви, открытой для всех. Акцент стоял не на местоположении церкви, а именно на ее рядовом статусе, и выведение отсюда особой демократичности Арбата выглядит явной натяжкой: по свидетельству современников, и в Университетской церкви при отпевании “стечение народу в течение двух дней было невероятное”⁸, “можно сказать, что вся Москва перебывала у гроба”⁹.

В целом топография дружеских связей Гоголя и домов, в которых он бывал, обнаруживает ту же тенденцию, что и в пушкинских материалах: сокращающуюся роль бывшего культурного центра столицы в районе Немецкой слободы, Разгуляя и Басманных улиц и перемещение его в другие районы города — прежде всего центральные, отчасти и на Арбат; последний при этом дает не более одной четвертой или одной пятой части зарегистрированных адресов и, главное, не становится предметом особой, выраженной привязанности¹⁰.

С указанной только что точки зрения показательны данные, касающиеся *Ф.И. Тютчева*. Он прожил в Москве первые 19 лет своей жизни (1803—1822), все — вне арбатского района. Позднейшие его адреса во время наездов в Москву обнаруживают концентрацию в центре города значительных духовных сил в районе Малой Дмитровки, Страстной площади и примыкающих переулков, т. е. опять-таки за пределами Арбата¹¹.

Продолжается и другая из намеченных выше тенденций — постепенный рост среди писательских адресов адресов арбатских (Лермонтов, Лев Толстой, Писемский), не сопровождаемый, однако, каким-либо ощущением особой привлекательности этого района. Показательно в этой связи отношение к Арбату таких знатоков и ценителей Москвы, ее идеологов, как М.П. Погодин и И.Е. Забелин. Первый жил в 1820-х годах в Дегтярном

переулке на Малой Дмитровке (кстати сказать, в доме другого славянофила и ревнителя московской старины С.П. Шевырева), в 1830-х — на Мясницкой, а затем, в конце жизни — на Девичьем поле и никакого особого тяготения к Арбату на обнаруживает; второй — историк и прекрасный знаток Москвы, который должен был остро чувствовать привлекательность отдельных ее районов, чередует в своих переездах по городу арбатские адреса с неарбатскими, не обнаруживая никакой преобладающей тенденции и никаких эмоций¹².

Для ряда писателей-москвичей — Фет, Островский, Чехов — вообще никаких связей с Арбатом не свидетельствует (а в последнем случае свидетельствуется связь отрицательная — см. об этом ниже).

Своеобразная вариация, но вполне очевидно на ту же тему — судьба в XIX в. Арбата дворянско-аристократического. Прежде всего надо подчеркнуть, что сама улица Арбат аристократической никогда не была. “Арбат — нечто среднее между дворянской и купеческо-лавочной улицей”, — писал в середине века Боборыкин¹³. До Боборыкина никакого сродства с “душным и пыльным Арбатом”¹⁴ не испытывал такой аристократ, как Н.П. Огарев, проживший здесь (в доме № 31) некоторое время после возвращения из ссылки. После Боборыкина, уже в начале XX столетия в той же тональности вспоминается Арбат в одном из важнейших источников для нашей темы, к которому нам в дальнейшем придется обращаться неоднократно, — в воспоминаниях художника Владимира Домогацкого: “Арбат тех лет встает передо мной в пестряди вывесок с разъезженными колесами заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские полозья с поклажей”¹⁵.

Дворянско-аристократическими были переулки Приарбатья, с одной, южной, стороны образовывавшие так называемую Старокопюшенную слободу — примерно от современного Старокопюшенного переуллка до современного Денежного и продолжение этой полосы дальше к Пречистенке; с другой, северной и северо-восточной, стороны — вся их сеть, донныне окутывающая Поварскую, Большую и Малую Никитские. Дворянско-аристократическими для послепожарной Москвы на протяжении всего XIX и начала XX в. они могут быть названы бесспорно. В разное время на Пречистенке жили Лопухины, Всевожские, Олсуфьевы, Орловы. Потемкины-Трубецкие; на Гагаринском и

Сивцевом Вражке -- Толстые, Гагарины, Кропоткины, Растопчины; на Поварской -- Долгорукие, Волконские, Шаховские, Милославские, Сологубы. Еще в 1930-е годы автор настоящих заметок встречал здесь Панина, Бобринского, Дурново, Мусина-Пушкина.

Аристократизм здешних мест, однако, был особого свойства. В начале XIX в. англичанка, долго жившая в России и проныцательно наблюдавшая ее как бы со стороны, назвала Москву "императорским политическим элизмуом России"¹⁶. Отипыски аристократических семей селились в своих арбатских резиденциях, лишь отойдя от активной государственной и общественно-политической деятельности, -- "общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла"¹⁷.

Герцен противопоставляет эту Москву первых лет XIX в. Москве своего времени, "толпившейся около кафедры одной из аудиторий Московского университета"¹⁸. Увы, в аристократических особняках Арбата все осталось по-старому. М.Ф. Орлов переехал на Пречистенку после того, как перед ним закрылись все пути и официальные назначения, вел дела сестры и продавал (не слишком удачно) ее лес. Денис Давыдов, выйдя в отставку, купил было дом здесь же, но вскоре продал его за нехваткой денег. Там, где ныне помещается Московское пожарное управление, доживал свои дни отставной Ермолов. Арбатскими были не талант, ум и масштаб этих людей, а их судьба. Достаточно вспомнить описание здешней жизни в "Былом и думах" Герцена или в "Записках революционера" Кропоткина. Все, что рвалось к чинам и карьере, толпилось в коридорах власти в Петербурге; все, что рвалось к большим деньгам, делало их в купеческих конторах Замоскворечья. Там -- кипели страсти, и жизнь встраивалась в движение времени, здесь -- "немедленно вымирало старое московское дворянство"¹⁹. Можно было, конечно, все это любить, как свое родное и кровное, можно было, как только что цитированный Кропоткин, стараться передать обе стороны -- и мертвенность этих переулков, и их элечичность. У большинства же людей, которые сами дышали этим воздухом, росло к арбатским местам, складывавшимся в определенный образ, тяжелое неприяженное чувство.

Оно выразилось уже в романе Тургенева “Дым” (1867), где семейство героини “чистокровные князья, Рюриковичи” — “проживало около Собачьей площадки” и “едва-едва сводило концы с концами”, а глава его, “человек вялый и туповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся”, “ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая”. Еще более выразительная характеристика Арбата явствует из контекста, в котором он упоминается тем же Тургеневым в одном из писем 1876 г.: «Я еще не читал продолжения “Анны Карениной”, но вижу с сожалением, куда весь этот роман поворачивает. Как ни велик талант Л. Толстого, а не выбраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла — хаос одним словом! И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек»²⁰.

Не прошло и года после этого письма, как появился роман “Мещане” А.Ф. Писемского, 12 лет уже проживавшего на Арбате. В нем содержится разговор, один из участников которого доказывает, что произведения искусства перестали предназначаться “московским Сен-Жерменам” — Большой и Малой Никитским, а адресуются все чаще “Таганке и Якиманке”, жители же бывших “Сен-Жерменов” только и мечтают о том, чтобы сравняться и уподобиться москворецкому купечеству, куда смещается центр духовной и всякой иной жизни Москвы. “Богаты уж очень Таганка и Якиманка, — соглашается его собеседница по имени Домна Осиповна. — Все, разумеется, желают и себе того же”²¹.

Ко времени Чехова репутация района сложилась прочно: дворянско-патриархальная Старая Конюшенная — “одна из самых глухих местностей Арбата”²², а окрестности “Смоленского рынка — скучнейшее место Москвы”²³. Именно здесь разворачивается действие рассказа “Страшная ночь” (1884) с его атмосферой глухомани, ненастья, неприятности и мрачной гротескной мистики. Отголоски такого восприятия отчетливо сказываются в воспоминаниях Андрея Белого, выросшего и проведшего значительную часть жизни на углу Арбата и Денежного переулка. В дальнейшем нам придется говорить об этих воспоминаниях более подробно, но уже при первом знакомстве ясно высту-

пает тон, господствующий в описании “мира Пречистенки и Арбата”, — профессорский позитивизм и позитивистская скука, причуды, нарушающие монотонию здешнего существования, но в нее же вписанные и никак не нарушающие ее по существу. Тот же тон сохраняется и в романе “Москва” (1925), действие которого, насколько можно судить по некоторым топографическим реалиям, происходит в месте соединения Плотникова переулка и Малого Могильцевского и относится к рубежу XIX – XX вв.

Подведем итоги нашего первого пролога. Ни одна из двух рассмотренных социокультурных сил, которые обычно связываются сегодня с “арбатской традицией”, — мир великой литературы XIX столетия и мир дворянской аристократии — объяснить особую роль и особую репутацию Арбата в 1950–1980-е годы, тот флер, которым он окутан, не могут. Отзвуки и обертоны их влетены в образ, нас занимающий, — действительно, некоторые русские писатели — не так уж много, но и не так уж мало — жили в арбатских местах; аристократические имена и аристократическая орфоэпия сохранялись здесь кое-где вплоть до революции²⁴. Но, как убеждает приведенный материал, атмосфера родовитого, радушия и культурного барства исчерпывается здесь к 1870–1880-м годам, а восприятия арбатских улиц и переулков как особого заповедного района духовности и литературного творчества здесь никогда и не было. Корни “арбатства”, его “религии” и “призвания” надо искать в других сферах.

Второй пролог, т. е. та эволюция, которая уже более или менее не прерываясь привела к образу Арбата, составившему особый “текст” в культуре города 1960–1980-х годов, начинается лишь по завершении этапа, описанного в первом прологе, хотя и не без подспудной — но именно подспудной — связи с ним. В первые пореформенные десятилетия в России вообще, в Москве в частности и на Арбате в особенности нарождается новое поколение людей, на самой заре своего появления получивших наименование, выделившее их на особое место в общественном и культурном развитии России и отделившее их во времени и в пространстве от носителей культурного развития всех других типов: *интеллигенция*. Эпопея Арбата, его цивилизация, его миф и его судьба представляют собой концентрированное выражение интеллигентского этапа русской истории и русской духовности.

Связующим звеном между первым и вторым прологом послужил Александр Иванович Герцен. Он бесспорно принадле-

жит первому из намеченных нами прологов, и его длительное проживание в арбатских местах никак этому не противоречит, не делало при его жизни Арбат сколько-нибудь маркированным районом, не порождало восприятие его в каком-то особенном ореоле. Откуда, например, приезжали к Герцену на Сивцев Вражек столь ему близкие и на всю жизнь запомнившиеся друзья? Кетчер — с Мещанских, Щепкин — с Каретного, Боткин — с Маросейки, Грановский — с Трубной или с Малого Харитоньевского²⁵. Где происходили постоянные споры западников со славянофилами? “В понедельник, — вспоминал Герцен, — собирались у Чаадаева, в пятницу — у Свербеева, в воскресенье — у А.П. Елагиной”²⁶. Тут нет ни одного арбатского адреса. В эти годы Чаадаев жил на Новой Басманной, Свербеев — на Тверском бульваре, Елагина — в Хоромном тупике у Красных ворот. В сложенном Герценом знаменитом панегирике Москве для Арбата места не нашлось²⁷.

Все это так, но к тому впечатлению, который оставил Герцен на здешних улицах и переулках — а он жил в доме отца на Большом Власьевском (1824—1830) и Малом Власьевском (1830—1834), жил у себя на Малом Власьевском и на Сивцевом Вражке (1842—1846), — чутким оказались следующие поколения. В наследии Герцена, в его облике, в местах, с ним связанных, они расслышали тот тон, который вел в будущее и который связал это будущее с арбатскими местами.

О волнении, которое вызвал у него и у его сверстников дом Герцена на Сивцевом Вражке, рассказал в своих воспоминаниях П.А. Кропоткин: “Мы проходили мимо него с полурелигиозным чувством”²⁸. Сам Сивцев Вражек, “не знаю почему, всегда представлялся мне центром студенческих квартир, где по вечерам ведутся между студентами горячие разговоры обо всяких хороших предметах”²⁹. Представление о “горячих разговорах”, которые, по мнению будущего революционера, велись в “студенческих квартирах” Арбата, чем дальше, тем больше связывалось с этими улицами и переулками. В Малый Власьевский к Кропоткину явился бежавший от полиции Степняк-Кравчинский. Напротив Малого Власьевского, в Гагаринском, в доме Армфельдов, сложился один из кружков, положивших начало “Земле и воле”. О дочери этой семьи Наташе Армфельд с восхищением писали впоследствии многие, вспоминая Забайкальскую каторгу 1870-х годов. Пяискосок от Армфельдов, во втором доме от угла Мало-

го Власьевского, налево жил потомок екатерининских вельмож генерал Дурново; дочь его Елизавета Петровна Дурново стала одним из ведущих деятелей "Народной воли". В Большом Афанасьевском, в доме № 14 в середине 1860-х годов находилась конспиративная квартира Николая Ишутина, в доме № 15 — швейная мастерская ишутинцев. В декабрьские дни 1905 г. Арбат пересекли три баррикады. В обороне одной из них участвовали скульптор Сергей Коненков и художник Сергей Иванов.

Последнее обстоятельство символично и связано с тем существом настоящих заметок, которое необходимо всячески подчеркнуть. Арбат никогда не был пролетарским районом, никогда не был он и районом городской бедноты, где естественно возникали революционные настроения, а затем и революционная деятельность. Процессы, только что описанные, приобретали здесь характер, далеко не исчерпывавшийся революционной *деятельностью*. Революционные настроения, здесь проявлявшиеся, были *одним* из выражений крепнувшего и становившегося для здешних мест все более характерным *интеллигентского уклада*, с его духовностью, демократизмом, нравственной изыскательностью, отвращением к гнету, к правительственному произволу, плутократической наглости, с его постоянным представлением о нравственной ответственности культуры и тех, кто в ней живет, перед оттесненным от нее народом. В революционном движении этот уклад находил себе крайнее и одностороннее выражение, но и распространялся он и на несравненно более широкое культурное и социально-психологическое пространство. Именно он образовывал общую основу, из которой исходили и развивавшееся здесь либеральное движение, просветительные начинания и художественная жизнь. Напомним предельно кратко некоторые относящиеся сюда факты.

В 1679 г. на Собачьей площадке, между Дурновским и Кречетниковским переулками, состоялся первый съезд русского земства. Многочисленные мемуаристы вспоминают ту роль, которую сыграли в пробуждении и сплочении либерального общественного мнения журфиксы В.А. Гольцева — сначала близ Плотникова переулка, позже — на Пречистенке. В следующем поколении сходную роль играл дом сестер Герцык в Кречетниковском переулке, где бывали и Бердяев, и Шестов, и многие люди их круга. В конце прошлого и в начале нынешнего века здесь более плотно, чем в любом другом районе города, расположи-

лись частные гимназии и реальные училища, разрабатывавшие новые прогрессивные формы обучения (практически отвергавшие мертвую рутину казенных учебных заведений), — Поливанова, Арсеньевой, Фрелова, Брюхоненко, Медведниковых, Хвостовой, Фишер. Из них вышло целое поколение русской интеллигенции от Андрея Белого (Поливановская гимназия) до Марины Цветаевой (гимназия Брюхоненко) и Тимофеева-Ресовского (Флеровская гимназия).

С разбираемыми процессами на Арбате оказалось связано развернувшееся здесь в конце прошлого и в начале нынешнего века строительство многоквартирных домов в стиле модерн. Они составили устойчивую черту арбатского пейзажа, имевшую, как нам предстоит увидеть, существенные культурные и социально-психологические последствия. Чтобы понять, о чем идет речь, напомним лишь некоторые. Дом Кана на углу Малой Никитской и Садовой (архитектор Шехтель, 1901), Обухова на Большой Никитской, 24 (архитектор Нилус, 1905—1906), Исакова на Пречистенке, 28 (архитектор Кекушев, 1906), Казарновских в Малом Могильцевском переулке (архитектор Жерихов, 1910 и 1911), Панюшева на Арбате, 51 (архитектор Иванов-Терентьев, 1911—1912), Филатовой на Арбате, 35 (архитекторы Дубовский и Архипов, 1913—1914) и многие другие — в Гагаринском напротив Малого Власьевского, на Большой Молчановке напротив Большого Ржевского, знаменитый “дом со львами” в начале Малой Молчановки и дом рядом с ним, выходящий фасадом на Ржевский, дома на Малой Никитской напротив церкви Большого Вознесения и несколько выше, напротив городской усадьбы графов Бобринских... Числа им несть.

В те годы очень модно было проклинать эти громады, теснившие былое, как казалось, привольное и уютное житье, и презирать дух наживы, вызвавший их к жизни. Брюсов писал, что “на месте флигельков восстали небоскребы // И всюду запестрел бесстыдный стиль - модерн”³⁰. Эти настроения отражали лишь одну сторону дела, культурно-исторически не самую важную. Модерн придал характер нормы величайшему социальному завоеванию архитектуры XX столетия — квартире. После эры особняков она знаменовала наступление эры новой — демократической и, в особой форме, открывавшей широким слоям доступ к культуре. Квартира была несопоставимо дешевле особняка, не требовала многочисленной прислуги, повторялась одно-

типно во многих экземплярах, уравнивая занимавшие их семьи. В отличие от дворянско-аристократических резиденций, где дети и гувернантки ютились на антресолях, а прислуга в полуподвале, квартира обеспечивала всех проживающих комфортом, светом и воздухом, а членам семьи создавала возможности для умственного труда. Немаловажную роль играло и высокое качество строительства — квартиры были теплые, с центральным отоплением, со всеми известными в ту пору удобствами. Эстетика модерна предполагала насыщение облика дома искусством и историей. На фасадах размещались цитатные вставки из произведений архитектурной классики, горельефы и мозаики рассказывали мифологические, сказочные, литературные сюжеты. Для арбатского района один из самых ярких примеров — доходный дом на углу Малого Могилыцевского и Плотникова переулков. На опоясывающем дом рельефном фризе представлены чуть ли не все великие классики русской литературы. Отличие арбатского района от, скажем, Столешникова, Большой Дмитровки, Мясницкой состояло в том, что здесь строилось больше домов модерна с квартирами сравнительно небольших размеров и потому доступными интеллигентным семьям средней руки — врачам, инженерам, гимназическим учителям. Соответственно, здесь полнее, чем во многих других районах, реализовалась общественная программа архитектуры модерна — слияние культуры, демократизма и интеллигентности в единый стиль жизни, единую атмосферу района.

И сама эта атмосфера в целом и присущее ей острое сознание долга интеллигента перед народом нашли особенно полное выражение в деятельности арбатских врачей. Начиная уже с 1865 г. на Арбате, в доме № 25, обосновалось Общество русских врачей. В разное время здесь вели прием светила отечественной медицины — Иноземцев, Смирнов, Клин, Абрикосов, Герцен, но с самого начала за консультацию здесь брали неслыханно низкую цену — 20 копеек, бедных же людей лечили вообще бесплатно. Находившаяся при Обществе аптека также выдавала немущим лекарства без денег. В 1916 г. на 850 м Арбата проживало 87 врачей — больше, чем на любой другой улице города. Еще больше было их в примыкающих переулках, и после революции число это существенно выросло. В отчете Общества за 1909 г. указывалось, что за время своего существования оно оказало помощь 1300 тыс. больных. В те же

годы на углу Арбата и Колошина переулка открылся бесплатный родильный дом³¹.

О распространении этого стиля не только на медицину свидетельствует хотя бы тот факт, что в доме № 4 по Арбату, принадлежавшем А.Л. Шанявскому, рождался университет, им основанный. Слушатели принимались без аттестатов и дипломов; то был первый вольный университет в стране, несший перво-классное высшее образование без ограничений всем, кто к нему стремился.

Чувство преданности народу, сознание своей ответственности перед ним и необходимости искупить свою перед ним вину — вину сытости, комфортности, культурной рафинированности и соответствующий образ народа, перед которым интеллигенция находится в неоплатном долгу, были здесь, как показывает весь приведенный материал, тоном и стилем, не всегда формулируемым декларативно, но всегда ощущавшимися в подоснове здешней жизни. Это чувство и это сознание, этот образ, сам тон и стиль подверглись тягчайшему испытанию в годы революции, гражданской войны и военного коммунизма. Арбат выжил; по крайней мере, на два еще десятка лет выжила арбатская интеллигенция, но и он, и она вышли из этого испытания преображенными. Именно здесь завязались те нити, которые на определенное время сделали Арбат проблемой, символом и мифом российской интеллигенции, озарившими советскую — финальную — стадию ее культурно-исторического бытия.

Интеллигенция, как известно, — слово латинского корня, ставшее обозначением специфически русского явления, и эта его двойственность глубоко символична. С того момента, когда верховная власть централизованного (или только еще централизовавшегося) российского государства поставила своей задачей повышение военного, экономического и духовного потенциала страны за счет включения ее в мировое — т. е., прежде всего, западноевропейское — развитие и освоения накопленного там передового опыта, она, эта власть, ощутила потребность в людях, более других соответствовавших решению такой задачи. Иными словами, готовых принять западноевропейскую, к древнему Риму восходящую систему воззрений и ценностей — законность, основанную не столько на обычае, сколько на письменном кодифицированном праве; дисгармоничное, трудное и неустойчивое, но неуклонно утверждающееся равновесие интересов лич-

ности и общественного целого, а вместе с ним и права индивида; ценность книжной образованности и культурной традиции. Но с того же самого момента та же самая власть создала тот конфликт, тот, как часто принято выражаться, “раскол”, которым ознаменована русская история и русская культура: конфликт между людьми означенного типа, без которых власть не могла решить поставленную ею перед собой задачу, и людьми, целиком укоренными в местной традиции, жившими не западноевропейским, а почвенно-национальным опытом, не письменным формальным правом, а обычаем, ощущавшими западный католицизм как враждебную силу и угрозу отечественному православию, а книжную образованность — как отпадение от народной веры и народного уклада. Люди этого последнего типа были так же необходимы власти, как и люди первого типа, ибо именно они составляли основную массу населения, оплот государства и производства.

Конфликт между обеими силами начал ощущаться обществом со времен Петра, а предметом рефлексии — у “предарбатских”, в указанном выше смысле, поколений, которые и нарекли его проблемой отношений “интеллигенции” и “народа”³². Суть проблемы состояла в том, что все три силы — власть, народ и интеллигенция — образовали конфигурацию, другим культурно-историческим регионам неведомую, заданную национальным развитием России, вмурованную в самую суть этого развития, в его течение и именно поэтому делавшую каждое из ее слагаемых органическим элементом отечественной истории, равно необходимым обоим другим и равно перед ними ответственным.

Когда монархическая власть стала терять свою историческую почву, а тем самым и чувство ответственности перед страной, именно интеллигенция пережила, как мы видели, свою ответственность перед народом особенно остро. То была не только распространенная форма ее жизнедеятельности, но и моральная заповедь, задушевное чувство, осознанная позиция, основа ее самоосознанной истории. Свидетельства этого были недавно опубликованы в виде выразительной сводки³³. — «Один из авторов вышедшего в 1910 году сборника “Интеллигенция в России” Н. Гредескул подчеркивал, что русский интеллигент имеет много разных ликов: это и Радищев, “впервые заговоривший о страданиях и обидах крепостного народа”, и Рылеев и Бестужев, по-

павшие на плаху из-за этого “народа”, и Белинский, Герцен, Добролюбов, Михайловский и другие “вожди русского интеллигентного общества, всю жизнь свою положившие на защиту прав и интересов, того же самого “народа”» ... Г. Федотов находил определенную логику в мировоззренческих исканиях русской интеллигенции: “Она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825—1881) и, наконец, с народом против царя (1905—1917)”. Другой русский философ Ф. Степун писал в эмиграции о “тысячах юношей и девушек, которые, отказываясь от всех благ жизни, шли в народ, чтобы постичь его правду и принести ему свободу”».

Вот эти-то “надежда и воздыхание”, вера и страсть, клятва верности и дело жизни оказались в кричащем противоречии с образом “народа”, в котором он раскрылся на улицах российских городов в последние месяцы 1917 г. и первые месяцы 1918 г., а затем, сублимировавшись во “власть” и как бы растворившись в ней, предстал и иными, самыми разными своими гранями. Хлынувшие с фронта солдаты не расставались с оружием, и оно давало им возможность стрелять и убивать на улицах, вламываться в квартиры, разбивать винные лавки, заниматься под видом неизвестно кем санкционированных реквизиций и обысков обыкновенным грабежом, всегда оправданным тем, что направлен он против “буржуев” — в том числе и в первую очередь против тех самых интеллигентов, которые из поколения в поколение только и делали, что радели о “народе”.

Так жила в те годы вся Россия, и в частности вся Москва, но вряд ли случайно, что исполненные особого трагизма источники, освещавшие эту коллизию, возникали из впечатлений арбатских мест и происхождением связаны с ними: “Окаянные дни” И.А. Бунина — с Поварской, “Лебединый стан” М.И. Цветаевой — с Борисоглебским, “Сивцев Вражек” М.А. Осоргина, если не биографически, то по содержанию — с улицей, давшей роману название, “Улица Святого Николая” Б.К. Зайцева — скорее всего, со Спасо-Песковским сквером, “Кладовка” В.В. Домогацкого — с Серебряным переулком. В этих произведениях, как и в жизни их авторов, нашли отражение те взгляды на окружающие события и на возникший из них новый строй, новый уклад жизни и, соответственно, те линии поведения по отношению к этим событиям, этому строю и этому укладу, которым суждено было вступить во взаимодействие, более или менее осво-

бодиться от одних, более или менее полно утвердить другие и в таком единстве противоречивых вариантов составить общественную и духовную атмосферу Арбата как целостного культурного феномена последующих лет — тех, что наступили по завершении обоих прологов в рамках того Арбата, образ и судьба которого нас в настоящих заметках более всего интересуют.

Одна позиция — глубокое и яростное возмущение, полное неприятие раскрывшегося образа “народа” и порядков, из него вытекавших и его утверждавших, — позиция, ведущая к бегству, к эмиграции, фактической или внутренней. Такова была реакция Бунина.

Почти сплошь арбатские места. “Встретил в мерзляковском старуху...”. “Во дворе одного дома на Поварской...”. “У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем...”. «Извозчик возле “Праги” с радостью и смехом...». “В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем...” “У Н.В. Давыдова в Большом Левшинском...”. “На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое”³⁴. И вот на этом фоне: «В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что конечно социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. “Троцкий молодец, он их крепко по шес бьет”. Неподалеку, у Страстного монастыря. “Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. — Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать... — Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама”. “Наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала: — Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот что-й-то не приходит”. “— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь. Солдаты подтвердили: “вот это верно!” — и тоже отошли”».

Ощущения личности Арбата у Бунина нет и следа. Так во всей Москве, так и во всей стране. «Приехал Д. — бежал из

Симферополя. Там, говорит, “неописуемый ужас”, солдаты и рабочие “ходят прямо по колено в крови”. Какого-то старика полковника живьем зажалили в паровозной топке». И вывод: “Все говорим о том, куда уехать”. Следующая глава написана на пути в Париж, в Одессе, но и здесь то же самое, причем главное действующее лицо — не именно и только большевики и те, кто сознательно идет за ними, а народ как таковой и то, что в нем раскрылось. “В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавченки и даже буфетки снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться”. «Это называется, по Блокам, “народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!”»³⁵.

Не станем цитировать “Лебединый стан” — впечатления те же и настроение то же. Имело бы, может быть, смысл процитировать “Кладовку”, где те же впечатления и настроения распространены и на последующие годы, но о ней речь впереди.

Совсем другое восприятие событий, судя по разговорам, полемически цитируемым в “Окаяных днях”, сосуществовало в арбатских местах с тем, которое только что описано. Одно из самых ярких его свидетельств — “Улица Святого Николая” Б.К. Зайцева. Рассказ этот дал название книге, изданной автором в Берлине, уже в эмиграции, однако отразившей впечатления не только революционных, но и предшествующих лет³⁶. Начинается все с безмятежной радости жизни, не подозревающей о своей греховности, а потому и о справедливости ожидающей ее кары. “Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат”. Это — первые слова книги. Жизнь, так охарактеризованная, где “все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно”, где “строятся сотни квартир с газом и электричеством” и заливаются свежим асфальтом новые мостовые, течет “между трех обличий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца”. Именно эти церкви, неизменно и постоянно (как казалось автору) возвышающиеся над всем, здесь происходящим, служат залогом и свидетельством того, что покаяние и торжество жизни, движущейся вперед через все муки и страдания, возможны. “Туго пришлось тебе, твоим спо-

койным переулком, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости изящной жизни". Ну, а тогда — "вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево... Не забывай уроков. Будь спокоен, скромн, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные. Слушай звон колоколов Арбата. И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоей улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет"³⁷.

Настроение это было в те годы распространено в стране среди интеллигенции довольно широко, но на Арбате — в особенно концентрированном виде. Чтобы понять его причины, характер и смысл, необходимо указать еще на одну сторону арбатской жизни предреволюционных и первых последующих лет, о которой до сих пор мы упоминали лишь вскользь и мельком. Речь идет о той части интеллигенции этого района, которую долго принято было называть рафинированной (в осудительном смысле), модернистской или декадентской и которая сама себя предпочитала называть "людьми нового искусства". В частности, выше названы были фамилии живших и работавших на Арбате художников, многие из которых принадлежали к этому типу.

Заметную роль в духовной жизни Арбата играли музыка и музыканты, связанные с тем же слоем культуры. В Большом Николопесковском жил Скрябин, позже — Софроникский, в этом доме был впоследствии открыт музей Скрябина, вокруг которого группировались во многом люди того же толка, только сильно постаревшие. В 1920-е годы в здании бывшей Поливановской гимназии на Пречистенке разместилась Ассоциация современной музыки, куда входили, в частности, Мясковский (живший в те годы тут же, в Денежном переулке), Держановский, Сараджев и другие и где систематически проходили концерты близкого им направления. В той же тональности культуры жила и часть арбатской профессуры — Бердяев, Гершензон (на углу Плотникова и Сивцева Вражка). Среда эта выступает отчетливо в воспоминаниях А.В. Чичерина³⁸, но наиболее остро нота, нас сейчас интересующая и во многом определившая последующую судьбу здешних людей, выражена в "воспоминаниях" такого мало известного, но весьма примечательного челове-

ка арбатской культуры данного поколения и направления, как Евгения Казимировна Герцык (1875 — 1944)³⁹.

Она жила на углу Кречетниковского переулка и Новинского бульвара (дом не сохранился) и частенько по вечерам хаживала то “знакомыми арбатскими переулками — к Бердяевым”, то к другим знакомым того же круга, среди которых Вяч. Иванов (у Зубовской площади), Максимилиан Волошин (в Кривоарбатском переулке), а также Л. Шестов, С. Булгаков, В. Эрн, П. Флоренский. “Когда идешь по Арбату и Ближним переулочками — чуть не каждый дом памятная стела”⁴⁰. В мемуарах Герцык отчетливо выражено то настроение, которое охватывало весь этот круг и в котором обнажалась подоснова так называемого “декаданса”, во всяком случае русского, во всяком случае арбатского — глубокое разочарование в сытом, спокойном существовании, гарантированном происхождением и семейным кругом и требовавшем закрыть глаза на беды и трагедии окружающей действительности, на духовные и материальные страдания, которыми она была переполнена: “Наступает час, когда обличается внезапно, катастрофически лживость всего, что казалось незыблемым”⁴¹; “все они (включая до конца искренних, как Блок или Анненский), все они, большие ли, мелкие ли, пронзены болью, с трещиной через все существо, с чертой трагизма и пресыщенности”⁴². Революция здесь и была воспринята как освобождение от “трагизма и пресыщенности”, как возвращение к исконным и естественным началам жизни — к заботам о хлебе, о доме, о детях. “Так близко, так остро чувствую я приближающийся ко *всем* нам конец -- таинственное начало нового”. “Из Праги Сергей Николаевич (Булгаков. — Г.К.) уже давно писал нам, не советуя ни в коем случае ехать туда и радуясь, что его сын Федя остался в России. Нет, очевидно надо и возводить новую жизнь среди осыпающихся русских песков”. “Странно сказать, что последние годы ужасной нищеты были, кажется, самыми счастливыми годами моей жизни”⁴³.

Та же гамма настроений полностью отражена в автобиографических книгах Андрея Белого⁴⁴.

Помимо “бунинского” регистра яростной ненависти к террору, насилию всех родов, к подстегиванию самых разрушительных и самых низменных инстинктов, творимым именем народа, а в большой мере и людьми, из него вышедшими, помимо “зайцевского” регистра принятия происходящего как кары за сытость,

как освобождения от духовной запутанности и как начала строительства лучшего будущего, существовала в эти годы на Арбате и еще одна форма восприятия и переживания того, что обнаружилось в революции и последовавших за ней годах. Назовем этот, третий регистр восприятия случившегося условно, по фамилии автора произведения, отразившего его особенно полно и художественно убедительно, "осоргинским", имея в виду роман М.А. Осоргина "Сивцев Вражек"⁴⁵. И насколько "зайцевский" регистр оказался в сложении того образа Арбата, что был завещан последующему поколению, сильнее "бунинского", настолько же и этот, "осоргинский" образ оказался сильнее обонх предыдущих и в большей мере, чем они оба, определил и арбатский миф 60-х годов, и арбатскую жизнь 30-х, составившую для этого мифа реальную почву.

Основу "осоргинского" образа Арбата составило даже не убеждение, а чувство абсолютно непреложное: "жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа"⁴⁶. Непреложно было добыть дрова и пищу, накормить детей, отстоять свои две комнаты, оставшиеся от бывшей квартиры. А следовательно — действовать в окружающей жизни, следовательно — участвовать в ней, а значит -- в той или иной форме принадлежать ей, быть в нее втянутым. Жизненная установка эта и практическое поведение, из нее следовавшее, и в людях тех лет и, соответственно, в персонажах романа реализовались в двух разных формах, даже скорее не формах, а как бы музыкальных регистрах, разных, но нераздельных. Жизнь, в которую надлежало встроиться, направлялась властью, декретировавшей и притеснения, и террор, а господствовали в ней бежавшие с фронта солдаты и городские низы, практически осуществлявшие и то, и другое. Встроиться в такую жизнь поэтому можно было, лишь закрыв глаза на свое подлинное положение, на требовавшийся от тебя отказ от собственных привычек, ориентиров и ценностей — словом, ценой последовательного конформизма. Но было в таком поведении и понимание того, что жизнь, наука, искусство никогда не исчерпываются действиями власти, что за пределами ее действий остается довольно широкое поле, где в повседневном труде, честном и добросовестном, подспудно и вопреки всему живет нечто сохраняющее и передающее будущему представление о порядочности, честности и добросовестности.

Власть понимала двойственный исторический смысл интеллигенции и потому одновременно и систематически уничтожала носителей этого “нечто”, вплоть до массового геноцида 30-х годов, и столь же систематически использовала готовность людей такого типа работать на будущее, взводила эту готовность в ранг официальных добродетелей, награждала пайками и квартирами, амальгамируя интеллигенцию практически и идейно. Двойственность эта, легшая в основу арбатской цивилизации 30-х годов, исподволь складывалась уже и в 20-е годы. С одной стороны, сохранялась реальность всего того, что увидел и пережил на Арбате Бунин. В романе Осоргина она воплощена в образе полусумасшедшего расстрельщика Завалишина, преддомкома Денисова, в образе солдата Андрея, за пределами романа — в названных выше воспоминаниях художника Домогацкого⁴⁷, за пределами литературы — в атмосфере коммунальных кухонь тех, да и позднейших, лет. Но встраивание в действительность, которую в большой мере определяла эта среда, несло в себе не только конформное приятие, но и, благодаря возникавшему движению жизни вперед, неслышное и неуверенное преодоление реальности в ее наличном виде, частичную нормализацию самой среды. Сделано это несравненно тоньше и глубже, чем у Зайцева. Никто не перековывается, никто не идет навстречу “меньшему брату” или произносит речи во славу новому строю. Просто есть люди, у которых отчаяние оказалось сильнее инстинкта жизни, есть люди, у которых инстинкт жизни означал бездумное растворение в окружающем, а между одними и другими — те, кто нес в себе начало жизни как начало веры, духовности и женственного цветения и, ничего не загадывая о будущем, отдавался им и ими существовал.

Таков солдат Григорий — денщик, ухаживавший как нянька за своим изуродованным и превращенным в обрубок офицером Стольниковым, а после самоубийства последнего уходящий из Москвы: “На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду — из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека. Не беглец, не родине изменник, не трус, а отрясший прах лжи и осмелевшего бесчестья. ... Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, нашел ли, что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скиты, или уплыл морем в Барн и Иерусалим, унес ли свою правду или бро-

сил ее в пути вместе с тощей и изветшавшей своей котомкой — про то сказать никто не знает”⁴⁸.

В центре “зоны жизни”, однако, оказывается не Григорий, а профессор-орнитолог Иван Александрович и его внучка Таня. Понятие жизни, в них воплощенное, замечательно тем, что оба героя не *отстаивают* ее, за нее не *борются*, она вообще для них не предмет рефлексии и не принцип поведения. Она — естественная как дыхание основа их существования. Именно она кладет грань между ними и остальными персонажами романа, которые все за что-то борются, что-то отстаивают, утверждают какие-то принципы. Они просто образуют вечную и непреложную основу бытия и делятся так же, как делятся дубовые бревна в основании их дома, как насекомые, ютящиеся в их щелях, или даже как мыши в подвале — что-то теряя, что-то перенося и неизбежно делясь. Вот разговор Тани с Астафьевым — самым “бунинским” персонажем книги, прожженным презрением и ненавистью к окружающей его стихии насилия и хамства: “Всего важнее для меня было бы иногда видеть рядом простого и здорового духом человека, по возможности не философа, но и не раешника. — А это не слишком зло, Татьяна Михайловна? — Нет. Я вообще незлая, вы это сами признали. Но я хочу воздуха, а не какой-то беспросветной тюрьмы, куда вас всех тянет и куда вы меня тоже хотите упрятать. — Кто же вас... — Но Танюша перебила: Мне, Алексей Дмитрич, двадцать лет, вы думаете, мне приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И главное, все время о себе, все — вокруг себя и для себя, и все такие, даже самые лучшие”⁴⁹.

Одна черта романа особенно существенна для нашего анализа. Сознательно или подсознательно автор ведет свой сюжет так, что все персонажи, вступающие в конфликт с действительностью или безвольно в ней растворяющиеся, живут и действуют вне Арбата. Расстрельщик Завалишин и его наставник и жертва приват-доцент философии Астафьев, калькирующие пару Иван Карамазов — Смердяков, живут в одном доме в Дорогомилове — районе, для арбатского человека чуждо знаковым⁵⁰. Стольников, кончающий самоубийством, — на Малой Бронной, остальные связаны — кто с Маросейкой, кто со Сретенкой, но самоценная и самообновляющаяся жизнь, ее сила и внутренняя красота имеет средоточие лишь в одном-единственном месте — “в беспредельности вселенной, — начинает Осоргин свой роман, — в сол-

печной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка”⁵¹. Горничная Дуняша уезжает отсюда, от московского страха, голода и холода, в деревню; ее брат Андрей, поселившийся было здесь совдеповский начальник, уходит на фронт, чтобы там погибнуть; остаются профессор, Танюша да по-прежнему часто приходящие сюда полумладенец-получудак панист Эдуард Львович и некто Протасов — просто хороший человек, о котором мы не знаем ничего, “человек без свойств”, — независимая от своих будущих свойств чистая потенция жизни.

Нам пришлось так подробно остановиться на романе Осоргина потому, что в нем наиболее полно представлены все слагаемые арбатского мира, какими они сложились на протяжении периода, обозначенного нами как “второй пролог”, и какими они затем перешли из “пролога” в “основной сюжет драмы”. — Культурный и аксиологический антагонизм между интеллигенцией и социальными низами в том их облике, который раскрылся в годы гражданской войны и военного коммунизма;приятие большей частью здешней интеллигенции такого объяснения указанного антагонизма, согласно которому значительная доля ответственности за него лежала на самой интеллигенции, а поведение тех, кто ее окружал, было лишь следствием векового неравенства, доказательством “вины интеллигенции перед народом”; надо всем этим — общее ощущение причастности к длящейся и предъявляющей свои права живой жизни, несущей в себе обозначенные выше антагонизмы, но и смягчающей, а в перспективе и снимающей их. Чувство причастности к жизни и императив участия в ней, а следовательно и в практической, реальной, т.е. советской ее форме, оказывались в конечном счете сильнее двух первых слагаемых. Чувство это в разной форме и в разное время знали и люди, пережившие все то, что им суждено было пережить тут же на месте⁵², и те, кого пережитое привело в эмиграцию. Не случайно ему оказались сопричастны и Бунин, и Цветаева, и Зайцев.

Характеристика возникавшей таким образом амальгамы была бы неполна без указания на еще один существенный ее компонент. На протяжении 20-х годов на Арбате много селилась партийная интеллигенция, в значительной своей доле еврейского происхождения. Эти люди лишь в очень редких случаях реально принадлежали к правящей элите. Последняя предпочитала не Арбат, а Берсеневскую набережную, Шереметьевский пе-

реулок, Каретный ряд, район Тверской и Большой Дмитровки. На Арбате дома, где им предоставлялись квартиры, были редки: так называемый “дом командармов” на Большом Ржевском — едва ли не единственный пример дома, целиком занятого людьми власти. Уже в таких домах первой пятилетки, как тот, что наискосок от “дома командармов”, на углу Большой Молчановки или № 3 по Карманицкому переулку, дом № 15 по Сивцеву Вражку, немало было и так называемых “спецов”, т. е. активно сотрудничавшей с Советской властью инженерно-технической интеллигенции, а в более или менее одновременно с ними возникших домах, вроде Арбат, 20 или дома на углу Большого и Малого Левшинского, среди жильцов могли уже преобладать профессора и писатели. Партийная и советская интеллигенция, селившаяся на Арбате и в его переулках, в большинстве представляла собой тот средний слой, в котором естественная преданность жизни преломлялась в виде столь же естественной преданности конкретной общественно-политической форме этой жизни, т. е. советской власти и коммунистическому режиму. Еврейская часть была им предана за то, что они избавили ее от погромов, от черты оседлости и процентной нормы, от вечного чувства своей угрожаемости и дурной особенности, не-еврейская — в силу традиционного для этого слоя отрицательного отношения к царскому строю.

Наступившие после завершения “второго пролога” 30-е годы несли в себе весь его материал и все его конфликты. То коренное противоречие русской истории и русской культуры, которое Ключевский назвал “расколом”, славянофилы связывали с деятельностью Петра и обозначили как противостояние Петербурга и Москвы, а Александр Блок и его поколение пережили как проблему интеллигенции и народа, вступило в новую, предельно краткую и совершенно особую фазу. Преображенное и сублимированное, оно продолжало бушевать, но современники могли счесть его преобразенность и его сублимацию доказательством того, что единство идет на смену розни.

Арбатская цивилизация 1930-х годов и ее исчерпание

Сочетание социокультурных сил, их отношение друг к другу и эволюция этого отношения, составившие объективно историческую основу образа Арбата, в дальнейшем маркировавшего

этот район, явились результатом социальных, политических и демографических процессов, которые интенсивно шли здесь на протяжении первых двух послеоктябрьских десятилетий. В их число входили: массовое перемещение в столицу деревенского населения; абсолютное увеличение количества интеллигенции, главным образом за счет переселявшихся сюда людей из провинций, либо отличившихся своими заслугами перед революцией, либо старавшихся скрыться здесь от ее последствий, а также за счет все шире привлекавшихся к работе с новой властью “спецов”; перераспределение жилого фонда в результате национализации и уплотнений. Процессы эти были характерны для Москвы в целом, да и для большинства городов страны. Однако на Арбате у них были свои особенности. Многоликое новое население в большой мере сохраняло свои, унаследованные каждой группой от прошлого социокультурные и социально-психологические различия, но в то же время тяготело к социальному единству, и в силу сохранявшихся здесь “зайцевских” и, особенно, “осоргинских” традиций — единство, которое с трудом, сквозь реальные противоречия, но упорно преодолеvalo различия и создало в итоге тот недолговечный сплав, который и составил “арбатскую цивилизацию”. Представление о ее, так сказать, жилищных предпосылках можно себе составить на основе следующих данных.

Архитектурный пейзаж 30-х годов складывался из зданий четырех типов: 1. Особняки первой и второй трети прошлого века, вроде домов (здесь и далее по состоянию на последний предвоенный год) № 6—12 и 11—15 по Вспольному переулку, № 8—6 по Гранатному, весь Чашников переулок, вся правая сторона Борисоглебского, если идти от Поварской, и правая сторона Малой Молчановки, если идти от Ржевского, и т. д. 2. Дешевые многоквартирные архитектурно невыразительные дома (так называемые обиталища), возникшие в эпоху архитектурного безвременья 1860—1880-х годов, когда ампиный канон уже ушел в прошлое, а принципы модерна еще не утвердились, как, например, оба угловых дома ныне не существующего Гodeиновского переулкa при впадении его в Арбат или дома на Большой Молчановке между Борисоглебским и Трубниковским. 3. Многоквартирные дома модерна (Арбат № 7, 9, 35, 51, Сивцев Вражек № 17, 19 и мн. под.). 4. Ориентированные на конструктивистский канон дома первой пятилетки и хронологически их

продолжающие дома второй половины 30-х годов (так называемый сталинский ампи́р), вроде дома № 15 по Сивцеву Вражку. Для арбатских переулков 30-х годов характерно совершенно определенное соотношение этих четырех типов, которое может быть представлено в виде следующей таблицы³³.

Переулок	Особняки	Дома модери	Особняки + дома модери, %	"Обиталища"	Дома первой пятилетки	"Обиталища" + дома первой пятилетки, %
М. Молчановка	4	3	100	–	–	0
Б. Ржевский	3	3	100	–	–	0
Всепольный	14	5	95	1	–	5
Кривошикольский	4	2	87	1	–	13
М. Никитская	10	7	85	1	1	15
Борисоглебский	8	2	83	2	–	17
Старокопюшенный	14	6	80	3	2	20
Плотников	6	7	80	4	0	20
Гранатный	8	–	80	2	1	20
Б. Афанасьевский	15	10	75	6	2	25
Б. Молчановка	7	4	73	3	1	27
Нащокинский	4	1	70	1	1	30
Итого в среднем	8	4		2	0,6	
Средний процент	57	27	84	15	1	16

Другие переулки района дают примерно те же цифры или во всяком случае укладываются примерно в те же пределы. Они как будто дают право принять за основополагающий признак арбатского района 1930-х годов следующие два параметра: необычно высокий сравнительно с другими районами города процент особняков, превращенных в коммунальные квартиры, но более или менее сохранивших свой архитектурный облик и социокультурный образ; резкое преобладание в жилой застройке сочетания особняков и многоквартирных домов модерн — в совокупности от 70 до 100%. Выборочные сравнительные данные по некоторым другим историческим районам Москвы подтверждают уникальность такого сочетания и его специфичность именно для района Арбата:

Переулоч	Особ- няки	Дома модерн	Особняки + дома мо- дерн, %	“Обита- лица”	Дома первой пяти- летки	“Обита- лица + дома пер- вой пяти- летки, %
Б.Харитоньевский	6	4	46	11	1	54
Б. и М.Козловские	3	3	40	6	3	60
Машков	1	2	19	11	2	81
Фурманский	—	4	36	5	2	64
Фокин	2	50	2	50		
Итого в среднем	2	3		35	8	
Средний процент	4%	6%	37	75	15	63

Или другой район — переулки в р-не Тверской и М.Дмитровки:

Переулоч	Особ- няки	Дома модерн	Особняки + дома мо- дерн, %	“Обита- лица”	Дома первой пяти- летки	“Обита- лица + дома пер- вой пяти- летки, %
Староименовский	4	3	41	7	3	59
Дегтярный	3	8	84	2	—	16
Б.Саввинский	1	2	37	4	1	63
Успенский	6	1	100	—	—	0
Итого в среднем	3,5	3,5		3,3	1	
Средний процент	31	31	65	29	9	35

Отраженный в таблицах характер застройки дает возможность, во-первых, обосновать более или менее объективными данными намеченные выше границы Арбата как района. Установленный коэффициент — “особняки плюс дома модерн существенно выше 70%” — выдерживается без коренных исключений только в намеченных выше пределах: Садовое кольцо — Пречистенка — Бульварное кольцо — Спиридоновка и явно меняется на границах данной территории. На три переулка, соединяющих Спиридоновку с Патриаршими прудами и Малой Бронной, в 20—30-е годы имелся лишь один особняк; на самой Малой Бронной их было три, зато “обиталищ” — 14. Почти точно та-

кое же соотношение на противоположной границе арбатского района — на Лопухинском переулке, на Всеволжском, Сеченовском, Мансуровском.

Характер застройки помогает также очертить — пусть в самом общем виде — социокультурную структуру района. Каждый из намеченных выше четырех типов домов предполагал, с меньшими или большими исключениями, определенную социальную и культурно-психологическую окраску. Особняки были, как правило, населены средним общественным слоем той поры, обозначавшимся в анкетах как “служащие”, т. е. интеллигентными семьями, московскими или приезжими дореволюционной формации. Часть комнат в особняках оказалась занята бывшей прислугой старых владельцев, у которой нередко обосновывались перебравшиеся из деревни родственники⁵⁴. Дома первой пятилетки были исключением из общей структуры: квартиры в них предоставлялись, по терминологии того времени, “ответработникам” и “спецам”, не были коммунальными, и потому участие жильцов в сложной социокультурной “текстуре” времени осуществлялось — там, где оно имело место, — вне дома. Многоквартирные дома модерн были национализированы, и “уплотнение” их шло централизованным порядком. В квартиры этих домов, где часть комнат оставалась у старых обитателей, вселялись, вполне по Осоргину, появившиеся с фронта солдаты, позже — демобилизованные красноармейцы и широкий контингент лиц, обычно из провинции, имевших заслуги перед революцией. Наконец, “обиталищ”, как мы видели, на Арбате было мало, и роль их населения в социокультурном облике района была ограниченной. Как правило, здесь жили старые московские семьи, занятые с дореволюционных лет в сфере обслуживания или физическим трудом.

При этой классификации следует, разумеется, учитывать, что население Москвы в целом и Арбата в частности в годы между гражданской и второй мировой войнами росло неудержимо, что пополнение каждой из перечисленных категорий также было весьма значительно и распределялось оно по указанным типам зданий не в строгом соответствии с предложенной классификацией. Она — повторим — весьма приближительна, но два обстоятельства она отражает бесспорно: процесс особенно интенсивного в эти годы взаимодействия разных социальных прослоек и групп и необычно значительную роль в этом процессе ста-

рой демократической интеллигенции. Сочетание того и другого образует главную характеристику “мира Пречистенки и Арбата”⁵⁵ 30-х годов.

Сочетание предполагало сопоставление, взаимодействие и очень нередко — конфликт. В обобществленных особняках, а в еще большей мере — на коммунальных кухнях в домах модерни шло “взаимопритирание” остро разнородных элементов — коренных арбатских, разночинных, пришлых деревенских и деклассированных, так и не сумевших встроиться в общественную структуру после гражданской войны и НЭПа. Более типична для 20-х, нежели для 30-х годов, история, рассказанная арбатским писателем Николаем Зарудиным, но отсветы подобных ситуаций разъясняют кое-что и в атмосфере более позднего времени.

Демобилизовавшись после гражданской войны, Зарудин вскоре получил комнату в доме № 51 по Арбату, в коммунальной квартире, которая и свела его с неким Шевалко. “Кубанский казак, партизан без правой руки, прямо из гражданской в Москву. Мать его, старуха шестидесяти пяти лет, пила натуральную литрами, плясала и никогда не пьянела. На глазах наших к ней сватались, и она пошла, и вышла бы, если бы не сорвался сын... Мы знакомились с ним при обстоятельствах ночных: ежедневно в 4 ночи звонил к нам Шевалко — два звонка и падал из двери покойником. Пил он зверски. Утром ежедневно у них, у Шевалко, начиналось: плач, драка, укоры, а мирились опять с водкой, причем пили уже все вместе — жена, мать, вечные гости из артели инвалидов. Из партии его вычистили — и навсегда <...> Бедняга был жертвой сложных отборов истории, он НЭПа не принимал идеологически, расстраивался — отсюда и пошел сплошной госспирт. <...> Подули новые ветра, и запахло иным, уже и невидимым порохом. Но Шевалко успел как-то перепродать комнату, кого-то надул и сгниул уже навсегда”⁵⁶.

Были и другие варианты, дожившие до войны. Просто темные мужики и бабы, замачивавшие белье в ваннах, коловшие дрова на инкрустированном паркете и люто не любившие тех, кому это не нравилось. Прямой уголовщины, насколько я могу вспомнить, в арбатском районе в те годы было мало. Впрочем, коммунальные квартиры с их прямыми антагонизмами касались больше взрослого населения, нас же сейчас должно больше интересовать население школьное.

С точки зрения исторической и историко-культурной свойства и особенности арбатского мира, составившие основу его позднейшего образа, необходимо рассматривать в первую очередь на материале школ. Во-первых, потому что сам социокультурный пейзаж, подлежащий анализу, сложился совсем незадолго до этого времени, был новым и, соответственно, находил себе адекватное выражение в новом поколении. Во-вторых, в результате школьной реформы 1932 г. были восстановлены многие традиционные разделы программ и методы обучения, и насыщение новых форм жизни всем лучшим в культуре прошлого выступало здесь поэтому как осознанная задача: работа по ее решению соответствовала атмосфере Арбата, его давним культурным традициям и потому стала важным слагаемым его образа. В-третьих, образ Арбата, как было сказано и в какой-то мере показано во вступлении к настоящим заметкам, сложился в 60–70-е годы из воспоминаний и впечатлений людей, покидавших в ту пору Арбат, о своей юности, т. е. опять-таки о школах 30-х годов. Наконец, нелишне учесть, что школ в те годы на Арбате было бесконечно много; дома, квартиры и дворы были переполнены детьми, они приносили в семьи тот дух, который царил в школах, и потому их роль в создании картины Арбата тех лет объективно очень значительна.

Мир арбатских школ 30-х годов отличался рядом признаков. Все эти признаки характеризовали также и большинство других московских школ той поры, равно как школы многих других городов страны. Но историко-культурные особенности арбатского района, описанные выше, существенно усиленные школьной реформой начала 30-х годов, придавали здесь этим всеобщим процессам специфический арбатский облик. Здесь, в частности, особым образом разрешались контрасты между пронизывавшими время самыми темными и страшными сторонами действительности и сторонами ее небывало, увлекательно светлыми; в особом сплаве представляли три ранее сложившиеся тождественности здешней жизни – “бунинская”, “зайцевская” и “осоргинская”.

В число признаков “арбатской школьной цивилизации” входил, например, глубокий органический интернационализм. Никому не приходило в голову оценивать достоинства человека или его недостатки по его национальной принадлежности, которая вообще, если и воспринималась, то скорее как внешняя, чем как

содержательная характеристика. Во дворе бывшей гимназии Брюхоненко в Столовом переулке, где некогда училась Марина Цветаева, которая стала в советское время школой № 3, потом 103 и, наконец, 110, стоит скульптура, созданная бывшим учеником этой школы скульптором Даниелем Митлянским, посвященная его соученикам, не вернувшимся с фронтов Отечественной войны. У основания скульптуры — доска с перечнем учеников школы, разделивших судьбу пятерых, изваянных на постаменте. И в этой прекрасной скульптуре, и в этом списке производит впечатление их многонациональность⁵⁷. Примеров, говорящих о том же, можно было бы привести множество⁵⁸.

Чертой времени были также весьма эмоциональные и при этом очень чистые отношения между мальчиками и девочками⁵⁹, увлечение спортом и многое другое. Сосредоточимся, однако, на группе признаков, отчетливо образующих единую систему и наиболее прямо связанную с основной темой настоящих заметок.

Чертой, определяющей устроение в школах 30-х годов, было унаследованное от трех-четырех поколений демократической интеллигенции убеждение в том, что история разумна, развитие ее есть развитие к добру, лучшее — в будущем, и потому отрицательные стороны действительности, бесспорно, существуют, но в высшем смысле несущественны, преходящи. Мера человеческой ценности — участие в истории и ответственность перед ней. Отсюда — комсомольский дух и весь общественный компонент в жизни школ, движение в конце 30-х годов в военные школы, массовое добровольчество в начале войны. “Мы хотели, чтобы было лучше, потому и не знали страха”, — писал один из самых значительных поэтов этого поколения⁶⁰.

Важнейшей составной частью этого комплекса представлений было уважение к культуре и культурной традиции — специфическая черта 30-х годов в отличие от пролеткультовских 20-х или маргинально-контркультурных 60-х. Со времени революции прошло не более 15–20 лет. В школах продолжали работать многие гимназические учителя. Интеллигентные дамы, оставшиеся без средств к существованию, собирали группы детей из одного дома или из близлежащих и учили их французскому или немецкому (английский тогда в моду еще не вошел, той роли, которую он исполняет сегодня, не играл и встречался относительно редко). Стайки маленьких детей, ведомых дамой в трижды перешитом “саке” и болтающих на иностранном языке

ке, — одна из распространенных черт повседневного пейзажа Молчановки, Гагаринского или Малой Никитской. Школьная программа литературы предусматривала изучение “Гамлета”, “Мещанина во дворянстве”, “Фауста” и “Путешествия Чайльд Гарольда”. Культура была ценностью и воздухом, предметом мальчишеских разговоров во время уличных прогулок, литературные и художественные кружки — обыкновением и модой.

Культура, которой увлекались, которая изучалась и обсуждалась, была культурой традиционной. Из нескольких десятков бывших арбатских школьников, опрошенных мной в ходе подготовки настоящего текста, только один мог вспомнить квартиру с книжками Ахматовой, Гумилева или Цветаевой. Так называемую современную живопись, даже в таких спокойных ее проявлениях, как картины Юона или Мешкова, Сапунова, мы открыли для себя не раньше конца 50-х годов. В комнатах часто висели портреты Бетховена или Чайковского, но никогда — Дебюсси или Франка, Стравинского или Прокофьева; о Малере и слыхом не слыхали. Соответственно, у очень многих школьников над обтянутым цветной бумагой рабочим столиком помещались портреты и бюстики Пушкина, Некрасова, Чехова, Толстого, но не поэтов-символистов. Маяковский оставался предметом бесконечных споров — “понятно” или “непонятно”, “прилично” или “неприлично”. Зарубежных поэтов, если и читали — обычно в переводах, очень редко в подлинниках, то это были Гейне, Шиллер, никогда — Аполлинер, Рильке, Лорка, Йетс. Архитектура и вся эстетика модерна, хотя они были даны почти каждому в уличном пейзаже и домашнем интерьере, не воспринимались совершенно, а если и воспринимались, то именовались “пошлостью” или “рябушинским модерном”. Ценилось традиционное, здоровое, непосредственно и прямо гуманистическое. Такая эстетика была предусмотрена учебными программами, была установкой и насаждалась. Но она же продолжала (или казалась продолжением) столбовые духовные традиции демократической интеллигенции предреволюционных лет. В этом сочетании традиции, революционного отрицания прошлого и того же прошлого, прочитанного как современность, — суть и секрет арбатских школ той поры, во всяком случае — суть их учебных предметов гуманитарного цикла.

Тяготению к духовной простоте соответствовала реальность простоты материальной — чтобы не сказать материальной стес-

непности, чтобы не сказать бедности. В жизни общества не ощущалось (по крайней мере в этом районе) категории “материально престижного”, сегодняшнего ажиотажа вокруг вещей — носильных, бытовых, декоративных. Различия в материальном уровне, одежде и обстановке не выставлялись, но и не скрывались, ибо не воспринимались как существенные. Вот, например, очень точное описание жизни одного в ту пору весьма известного писателя и его семьи. “Жили Н.Н. в Сивцевом Вражке, почти рядом с Гоголевским (Пречистенским. — Г.К.) бульваром, на первом этаже; окна их выходили на улицу. У них было две комнаты в коммунальной квартире, довольно просторные, или как-завшиися по тем временам просторными, особенно потому, что в них почти ничего не было. В одной стоял широкий матрас на поленьях вместо пожек, несколько табуреток и мосдревовский, небрежно сколоченный и уже потрескавшийся письменный стол у окна; в стену были вбиты гвозди, на которых висела одежда, прикрытая ситцем. В другой комнате стоял большой стол и вокруг него стулья, что и составляло всю ее обстановку. На этот стол подавалась красноармейская алюминиевая манерка, в которой кипятили чай, граненые стаканы и оловянные ложки”. Этот интерьер мог быть не столь спартанским в квартирах, где семья сохранила кое-что из дореволюционной обстановки; комнаты могли быть — и в большинстве были — разделены шкафами на зоны: родительскую, детскую, гостевую, но безусловным и всеобщим было то свойство, упоминанием о котором автор заканчивает свой рассказ: “Все это было не бедностью или игрой в аскетизм, а полным пренебрежением ко всему, что составляло быт”⁶¹.

Если сферой жизни семьи были одна или две комнаты в коммунальной квартире, то сферой основного пребывания школьника — некое подобие выделенной ему и заходившим к нему товарищам функциональной зоны — столик у окна или место на краю большого обеденного стола; в непосредственной близости — две-три полки или этажерка с книгами. Привычной одеждой такого школьника была ковбойка, толстовка, бумазейный лыжный костюм, вершинной элегантности — летческий шлем, перешитый отцовский китель или куртка на молнии. Белые воротнички и галстуки вызывали насмешки. Это было то среднее состояние, удаленное и от нищеты, и от зажиточности, которое уравнивало, конформировало, но и было питательной

средой для продолжения интеллигентских традиций демократизма, неприязнительности и "честной бедности". "Я льнул когда-то к беднякам // Не из возвышенного взгляда, // А потому, что только там /// Шла жизнь без помпы и парада"⁶². Один из бывших учеников школы № 70 на углу Малого Власьевского и Гагаринского переулков рассказывал о двух своих почти одновременно пережитых сильных детских впечатлениях: обходя по какому-то общественному поручению дома своих соучеников, он впервые в жизни попал в отдельную квартиру и в тот же вечер, тоже впервые в жизни, увидел жилую комнату, в которой вообще не было книг.

Чем же была эта в общем столь симпатично выглядящая действительность школьно-арбатского населения 1930-х годов? Как соотносилась она с чудовищной реальностью, его, это население, не только окружавшей, но и его пронизывавшей? Не только с массовыми арестами и лагерным геноцидом, не только с заполнявшими газеты проклятиями по адресу очередных "врагов народа", в числе которых в основном оказывались люди, которым те же газеты годом раньше курили фимнам, но и с комсомольскими собраниями, где школьники должны были отрекаться от оказавшихся "врагами народа" собственных родителей, с постоянным контролем над разговорами и даже мыслями?⁶³

На поставленные вопросы есть по крайней мере два ответа. Первый ответ, самый общий, к Арбату не сводящийся и приложимый к нему как к частному случаю, основан на концепции общественного развития К.-Г. Юнга и на соотношении ее с советской действительностью в работах комментаторов. Как бы ни относиться к научной обоснованности конкретных общественно-исторических построений Юнга, вряд ли можно отрицать, что в учении его заложена особая вненаучная сторона истины. При истолковании определенных общественно-исторических ситуаций, юнгианское учение о вытеснении арханческих и разрушительных сил в глубины человеческого сознания, откуда они возвращаются в жизнь общества и яростно действуют в ней, выступает как грандиозная метафора исторического состояния, которая если не дает аналитического его объяснения, то дает картину его, увиденную как бы в рентгеновских лучах. Лучезарный образ времени, столь властно владевший умами людей 30-х годов, особенно подростков и молодежи, не упразднял ни обществен-

ных противоречий, ни насилия над историческим процессом, ни противоестественности категорических требований к каждому видеть вокруг себя не то, на что смотришь, он лишь вытеснял их в сферу коллективного подсознания, где они переживали рационализацию отчетливо смердяковского типа и возвращались в жизнь в виде второй действительности, состоявшей из сгустившихся теней и как бы по уговору нарочито незамечаемой. Пути восстановления баланса между моральными и рационалистическими императивами общественного бытия, с одной стороны, и темной арханкой, неизменно присутствующей, по Юнгу, в общественном сознании, — с другой, были выразительно описаны применительно к советской действительности 30-х годов в работе российского историка: “Тайная полиция — неизбежный спутник рационалистической утопии, ее тень. В коллективном сознании она выполняет роль цензуры бессознательного. Следственные камеры Ч.К. — субститут католических исповедален. Греха, зла, тени согласно марксизму нет, они исчезли вместе с капиталистическим способом производства. И в подвалах Лубянки восстанавливается утраченная в марксизме полнота бытия, накладываются необходимые тени. Террор — психологическая компенсация для одностороннего рационализма и морализма оптимистической теории”⁶⁴.

“Утраченная полнота бытия” восстанавливалась не только в подвалах Лубянки. Это — одна из аббераций, свойственных сегодняшнему взгляду на ту эпоху. В иной, более повседневной и тихой, но от этого подчас в не менее мучительной, форме “восстанавливалась” она на кухнях коммунальных квартир, в темных переулках и дворах. Смесь злобы и нахрапа, ненависти к чистоте и приличию, к закону и лицу, подстегиваемых официальной пропагандой под видом ненависти “рабочего класса” к “буржуазии и эксплуататорам”, вносила в гармонизирующе-оптимистический миф свои коррективы.

Вносила в него коррективы, но его ни в коей мере не отменяла. Как показал тот же Юнг⁶⁵, архетипы коллективного бессознательного в реальной жизни современного общества чаще всего перекрыты субстанциями другого порядка — символами или мифами. Архетипы в них как бы “утоплены”, в них “дышат”, но подчинены инстинктам человеческого общежития, компенсирующим темную разрушительную природу коллективного бессознательного светлым началом взаимопонимания и солидар-

ности. Последнее также коренится в глубинах личности, также не поверяется конкретным, рационально осмысленным социальным опытом, выражая себя в “формулах, причем намного более прекрасных и всеохватывающих, чем непосредственный опыт”. Опять-таки как бы ни относиться к научному существу юнгианства в целом, нельзя не видеть, что здесь уловлена одна из коренных традиций общественного и культурного развития.

Общественно-исторические мифы представляют собой особую универсальную реальность истории, сильнейший регулятор общественного поведения. Они возникают оттого, что никакое общество не может существовать, если основная масса его граждан не готова выступить на его защиту, спокойно подчиняться его законам, следовать его нормам, традициям и обычаям, если она не испытывает удовлетворения от принадлежности к его миру как к своему. Но эта готовность и это удовлетворение имеют своим исходным началом и одновременно своим следствием некоторую более глубокую потребность, их объединяющую и их реализующую — потребность в солидарности общественного коллектива, потребность ощутить себя своим среди своих. И как для готовности защищать свое общество, подчиняться его законам, радоваться своей принадлежности к нему реальная жизнь никогда не дает полных оснований, ибо действительность никогда не совпадает с той, какую хотелось бы видеть, так и потребность в солидарности с соплеменниками или согражданами неизменно разбивается о личную и имущественную рознь, о корысть и другие виды эгоизма. Поскольку уже сама потребность остается непреложной, то возникающий в обоих случаях зазор между нею и тем, что реально есть, может быть, если не устранен, то примирен лишь на основе *веры* — в осмысленность моего общества и в солидарность мою с другими его членами. Образ общества и норма отношений, в которых реализуется такая вера, и составляют общественно-исторический *миф*.

Миф находится в противоречивых отношениях с жизненной практикой. Он ей очевидно противоречит и в то же время, родившись из вполне реальной жизненной потребности, принадлежит практике общества, оказывает на нее мощное обратное влияние, живет в ней на грани упования, идеала, фикции и — эмпирии; миф — практический регулятор исторического поведения личностей и масс. Античный мир гражданской солидарности, героического патриотизма и гарантированной свободы в

рамках закона, воспетый Аристотелем и Цицероном, никогда как таковой, в этом именно виде не существовал, но Фермопилы были, была беспримерная жизнестойкость римского народа во время войны с Ганнибалом, и "Дигесты" в течение двух тысячелетий составляют основу правового мышления Европы. Точно то же можно повторить и применительно к позднейшим эпохам. В эмпирическом бытии ленивого, невежественного и грубо насильственного общества средних веков не было места тому, что составило суть его самосознания и его образа в глазах последующих поколений, — рыцарской чести, верности даме, пламенной религиозности при коррекции ее разумом. Но ни переписка Элоизы и Абеляра, ни капитальный факт средневекового номинализма — не фикция, как не исчерпывается образ Дон Кихота художественной фантазией его автора. И так далее.

Второй ответ на поставленный выше вопрос и связан с ролью мифа в истории вообще и Арбата в частности. Современное представление о 30-х годах как об эпохе, исчерпывающейся чудовищной дихотомией ликующих парадов и пыточной реальностью⁶⁶, говорит лишь о непрофессионализме историков, об этой эпохе пишущих и не видящих важнейшего ее слагаемого — общественно-исторического мифа времени. Ситуация, в которой он разворачивался, была точно описана Л.Я. Гинзбург. "Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака, Заболоцкого, Олеси и проч. Автор объясняет эту ситуацию владевшей всеми в те годы "жаждой тождества" с режимом, с временем, с народом. "Создавать участки тождества интеллигенту помогали различные механизмы. Среди них один из самых мощных — это народническое наследство, это с первыми детскими впечатлениями освоенная идея социальной справедливости"⁶⁷. Важно учитывать, что эта идея постоянно сказывалась в повседневном поведении — в готовности помочь "народу" и терпеливо сносить беды, сплошь да рядом этим же "народом" вызванные. Жажда тождества и механизмы ее удовлетворения, инстинкт социальной справедливости и практическое ему служение и образуют реальность мифа времени на Арбате 30-х.

Мы договорились описывать Арбат 30-х годов, существовавший в сознании и в жизни школьников той поры, и постарались объяснить причины и преимущества такого подхода. Для школьников макропроцессы времени преломлялись в жизни микро-множеств, прежде всего двора и класса. Сейчас много пишут об этих ячейках социальной среды тех лет. Есть люди, ностальгически вспоминающие взаимную поддержку и коллективный уют коммунальных квартир, прелести дворовой дружбы, здоровую атмосферу классов. Есть другие, с горечью говорящие и пишущие об унижительных квартирных склоках, о потасовках (четверо на одного) в подворотнях, об игнорирующем право человека быть самим собой безапелляционным приговоре класса. Было и то, и другое, и то, и другое верно. Суть дела — во всяком случае арбатская суть дела — не в этом.

Сквозь квартирные травли, склоки и примирения, сквозь дворовые баталии (подчас кровавые), сквозь классные споры и коллективные бойкоты прорисовывалась на Арбате одна тенденция. В них выстояла и окрасила их собой советская демократическая интеллигенция — с равным акцентом на каждом из трех слов. Арбатская цивилизация — очередной, закономерный и важный этап существования интеллигенции России, после этапов, условно говоря, “славянофильско-аксаковского”, “профессорско-бекетовского”, “жизнестроительно-бердяевского”. Арбатский этап характеризуется сочетанием всех перечисленных выше ее черт, возвышенных и низменных. Но он характеризуется еще и тем, что в социальных в своей основе конфликтах большинство вовлеченных в них подростков исходило из ее традиционных импульсов, что нормой при решении таких конфликтов — реализованной или нереализованной, но всегда осознанной именно как норма — оставалась ее тональность. В ретроспекции еще и еще раз убеждаешься в том, что в те годы интеллигенция вообще и арбатская в частности проявила значительную жизнестойкость. Комплекс интеллигентских форм поведения, манер, реакций, бытовых навыков и ориентаций мог под влиянием обстоятельств быть оставленным, забытым в другой жизни, но он крайне редко и лишь в экстремальных условиях знал внутренний распад и медленную эрозию, линьку.

Быт, повседневность, стиль существования и формы обыденного поведения играют в истории очень большую роль и проливают свет на многие ее макропроцессы. Подростки, вчера драв-

шися во дворе, заходили друг к другу рассматривать марки и запоминали звучные романтические слова: Гвадалупа, Коста-Рика, Борнео, и мальчишка, у которого дома было лишь полтора десятка случайных книг, уносил с собой непрограммные “Айвенго” или “Обрыв”. Самодеятельные театры при домоуправлениях, собиравшиеся обычно в недрах жактовских (ЖАКТ — тогдашний эквивалент позднейшего ЖЭКа или нынешних РЭУ) подвалов, возникали и рассыпались от раздоров и распрей детей и взрослых, но вчерашний деревенский мальчишка успевал сыграть в них Кочкарева и Рюи Блаза. Коля Н. из подвала на Староконюшенном, сын уборщицы, был ярко одарен, отличался музыкальным слухом и прекрасно осваивал программу. Но в судьбе его — человека, ставшего и видным администратором, и известным ученым, — отложились и палеонтологические витражи на лестничных площадках Медведниковской гимназии, и талант ее старых, коренных арбатских учителей, и долгие шахматные вечера в доме ИТР на углу Староконюшенного и Сивцева Вражка. Коля Е., сын дворника с Никитского бульвара, вряд ли стал бы доктором наук, если бы не вся атмосфера, семь лет подряд окружавшая его во Флеровской гимназии. Таких людей в ту пору было довольно много везде, но на Арбате, пожалуй, больше, их связь с интеллигентской традицией прямее. Именно Арбат спас, хотя и не всех, но столь многих от пьянства, уголовщины, гибели.

Все это — факты. Факты, далеко не исчерпывающие эмпирию довоенной арбатской жизни. В этом смысле они образуют нечто, от нее отличное, организованное памятью и сознанием, миф Арбата скорее, чем его повседневную практику. Но, как мы уже убедились, действительность — подлинная историческая действительность — всегда вырастает лишь из суммы и взаимодействия обоих — эмпирии и мифа. И не нужно сейчас пытаться признать одну из этих сторон подлинной, а другую — пропагандистской фикцией. Так не бывает. Историческая действительность всегда содержит в себе некоторый миф, и реальное поведение исторического человека всегда есть равнодействующая эмпирии и мифа. С 1926 по 1958 г., например, в доме по Большому Афанасьевскому жила семья потомков Баратынского. Жили в одиннадцатиметровой комнате; чтобы уместить всех ее обитателей, понадобилось соорудить полати, куда на ночь и отправлялась часть семьи. Кроме нее, в квартире жил еще 21 человек.

На положении семьи сказывались, по-видимому, все прелести подобной ситуации; наличествовало, должно быть, и жульничество управдома, и наглость соседей. Можно было бороться — договориться с застройщиком, вступать в кооператив, идти на комбинации матримониального свойства. Потомки Баратынского ничего этого не делали и предпочитали безвозмездно вести кружки в большом доме неподалеку (Филиппьевский переулок, 14), заселенном публикой самого разного социального облика, и объяснять здешним детям, какую великую культурную традицию наследует победивший пролетариат.

Арбатская цивилизация и арбатский миф в их описанном виде существовали актуально в 30-е годы и кончились вместе с ними, точнее — с войной и с первыми послевоенными годами. К этому времени полностью износился старый, предшествовавший модерну жилой фонд; жить в особняках стало практически невозможно. С конца 40-х и, особенно, с середины 50-х годов разворачивается массовое жилое строительство в новых районах, куда все энергичнее стало перемещаться социально активное население. Не вернулись с фронта многие и многие из вчерашних школьников, вымерли старики, воплощавшие арбатские традиции. Несколько лет после войны быт на Арбате не налаживался. В нетопленные квартиры проникает липкая и жестокая стихия черного рынка. Школы разделились на женские и мужские. Квартиры эвакуированных оказались слишком заманчивы и слишком легко доступны; растаскивание старинной мебели, картин и книг оказалось слишком привлекательно для худших и отделило их от лучших, старавшихся жить по довоенным арбатским нормам, а это в свою очередь внесло в относительно имущественно однородную довоенную среду резкую материальную дифференциацию. Люди, учившиеся в те годы в 70-й школе, до сих пор вспоминают девчонок, поглощавших булки с ветчиной на глазах голодных одноклассниц. Возникают ранние и случайные, скажем мягко, романы, какие-то странные полуподпольные злачные места, засасывавшие и зеленую школьную молодежь. Выражение “арбатские рыбки” памятно многим. Арбатская цивилизация кончилась. Но арбатскому мифу предстояла еще одна, другая жизнь.

Чтобы понять этот вторичный миф Арбата, миф мифа, который и образовал “арбатскую легенду” 60–80-х, породил арбатские песни Булата Окуджавы и обеспечил их ошеломительный

успех, стал притчей во языцех в пору реконструкции улицы в середине 80-х, вызвал тот поток докладов, конференций, статей и книг, посвященных Арбату, с напоминания о котором мы начали настоящие заметки, надо обратить внимание на те лейтмотивы, вокруг которых оказались организованы, с одной стороны, образ Арбата 30-х, а с другой — реальность того же Арбата, характерная для послевоенных лет, обратить внимание на главную линию противостояния.

В довоенном Арбате запоминалась чаще всего ценность человеческого если не единения, то взаимного понимания, интеллигентская способность видеть в другом такого же человека, как ты сам, и потому — жить в некотором регистре, не исчерпываемом конфликтами окружающей реальности. Вряд ли есть необходимость напоминать, что то был миф и что миф этот был частью действительности. Выше мы напоминали о том, чем была арбатская жизнь в годы военного коммунизма и чем она была пронизана позже. Но вот как вспоминается это время интеллигентной даме, жившей в особняке баронов Штейнгелей (Сивцев Вражек, 15): «В жарко натопленной кухне особняка собирались самые разные люди. Грелись дворник и водовоз, какие-то верткие старушки разогревали похлебку из картофельной шелухи. Сюда приходили студенты — перетащить тяжелую мебель, наколоть дров, наносить воды. В кухне собиралась самая пестрая в социальном отношении публика, но у плиты классовая рознь исчезала, всем было одинаково тепло, все что-то жевали»⁶⁸. Мы выше кратко напоминали о том, как много было в жизни арбатских дворов грязного, неаппетитного, а временами (хотя и нечасто) уголовного. Но в арбатском мифе отложилось нечто совсем иное: «Для меня “арбатство” — тот воздух, который был символом, простите, родины; это двор с ясными законами чести, рыцарства, приязни, сочувствия и сопереживания»⁶⁹. Чтобы не прерывать изложение отнесем в примечания пассаж из воспоминаний писателя Ю. Нагибина (тем более, что они относятся не к Арбату как таковому, а ко “второму Арбату” — к Чистым Прудам), где говорится о “добрых товарищеских драках”⁷⁰. Понять противоестественное сочетание “доброты” и “драк” все же можно. В памяти автора реальность оказалась перекрыта ощущением их как бы случайности — ощущением, связанным с тем, что в них действительно не чувствовалось социальной заданности, непреложности антагонизма, не

чувствовалось, да, наверное, и не было: сегодня подрались, завтра помирились.

Образ и миф опираются на реальность. “Жажда тождества” существовала потому, что в какой-то мере находила удовлетворение. Парадокс 30-х годов состоял, в частности, в том, что инерция народной жизни, несмотря на озлобление, которое воспитывал военный коммунизм, несмотря на все ужасы коллективизации и шигалевщины 37 года, несла в себе и среди интеллигенции, и среди так называемых “простых людей” еще значительные запасы народной целостности; они продолжали сказываться в обществе вообще, в арбатских школах в особенности. Водораздел между предвоенным десятилетием и десятилетием послевоенным — от конца войны до хрущевской “оттепели” — как раз и проходил между обществом, хоть как-то, в какой-то мере сохранявшим ощущение целостности, и обществом, в котором общественные противоречия выявились со всей остротой и как бы брали реванш за предвоенное затишье. Ареной явились и школы, и, в первую очередь, коммунальные квартиры. Поредевшее арбатское население прежних лет теперь интенсивно росло за счет лимитной прописки наемных рабочих, вчерашних военнотружеников, признанных достойными пополнить ряды московской милиции, и просто социальной пены, поднятой со дна трудностями и неурядицами военного быта. Новые люди во многих, очень многих случаях старались теперь не “притираться” к старым арбатцам, здесь сохранившимся, а их нарочито шокировать, подавлять, вынуждать “освободить жилплощадь”. Своеобразной энциклопедией образовавшегося таким образом уклада жизни — типов людей, атмосферы и порядков, для него характерных, является роман Б. Ямпольского “Московская улица” (часть первая называется “Арбат”)⁷¹. Послевоенный быт арбатской “коммуналки” описан в нем в ретроспекции, из 1960-х, но описан с беспощадной точностью. Ошибки в реалиях и топографии Арбата ничему не мешают: перед нами точность не протокола, а точность художественного обобщения. Реальность описанного в романе подтверждается и документально — воспоминаниями Наталии Ильиной⁷². Вернувшись после войны из эмиграции на родину, она поселилась в особняке, некогда принадлежавшем известному историку профессору Герье на углу Гагаринского и Малого Власьевского переулков и наблюдала там людей и отношения, с одной стороны, полностью

соответствовавшие изображенным у Ямпольского, с другой — делающие описание и стоявшую за ним реальность еще более впечатляющими, так как рядом с населением вполне “ямпольского” типа Ильина наблюдала и медленное угасание в этой атмосфере двух старых арбатских интеллигентов дореволюционного склада. Впрочем, литературными воспоминаниями дело не исчерпывается. Можно сослаться на рассказы людей, живших в те годы на Арбате, 35, на Карманицком, 3, на Староконюшенном, 39 и во многих других домах.

В послевоенные годы Арбат — как “духовная форма жизни”, как выразился бы Томас Манн⁷³, как культурная реальность, система отношений, как тип человека — кончился. Кончился, но не только не исчез, а снова зажил еще более богатой, хотя и особой, как принято сейчас выражаться, “виртуальной” жизнью. Чтобы осмыслить ее, надо вернуться к понятию общественно-исторического мифа, проникнуть в его метафизику и диалектику.

Ретроспективный миф: образ Арбата в 60–80-е годы

Отличительной чертой арбатской цивилизации было отсутствие самосознания — ощущения Арбата как некоторой духовной ценности, его исключительности. Давнее, еще задолго до революции написанное двестишесте Эренбурга: “Как много нежного и милого // В словах Арбат и Доргомилово” парадоксальным образом лишь подтверждает эту мысль: нужно быть совершенно посторонним “духу Арбата”, чтобы поставить в один лирический ряд Арбат и во всем ему противоположное и его отрицающее Доргомилово⁷⁴. Не опровергают высказанную нами мысль и слова Пастернака, написанные им в 1926 г.: “Недавно тут был вечер в пользу Волошина, без афиш, устроенный знакомыми для знакомых, миром Пречистенки и Арбата”⁷⁵. Как показывает контекст, речь идет не об атмосфере или особой ценности района, а лишь о той концентрации в нем интеллигенции, связанной с “новым искусством”, о которой мы говорили во втором прологе. Самосознание, переживание ценности, налет исключительности — все это вещи, плохо документируемые, живущие в душе больше, чем в письменных документах. Известный лингвист А.А. Реформатский, проведший полжизни в Дурновском переулке, записал в своих воспоминаниях: “Арбат, по которому я хожу всю жизнь”⁷⁶. Автор настоящих заметок тоже

“ходил по Арбату всю жизнь” — пока Арбат существовал — и может свидетельствовать, что лишь с конца 60-х годов “мир Пречистенки и Арбата” связался с особым настроением культурно-исторического характера, объективировался и стал переживаться как исключительность и ценность, а слова “Я родился у Грауэрмана”⁷⁷ начали произноситься с такой интонацией, с какой в XVIII в., должно быть, произносили “Я из Оболенских” или “Мы, Голицыны”.

Один из немногих текстов, придающих сформулированному выше утверждению объективный — или, во всяком случае, интерсубъективный — характер, — посмертно изданные автобиографические записи прекрасного писателя, очень ценимого в 60-е годы, — Юрия Казакова⁷⁸. Автор родился на Арбате в доме № 30 (где помещался воспетый Булатом Окуджавой “Зоомагазин”) и прожил там до 1963 г., когда переехал в Бескудниково. В книгу включены отрывки из неоконченной повести “Две ночи”, в двух из которых действие происходит на Арбате, по-видимому, в родном доме автора. Никакого ощущения личности улицы или района здесь нет и в помине. В доме живут люди какие-то на редкость “всехние”, социокультурно аморфные, без малейших признаков того, что позже было названо “арбатством”. Публикации отрывков предпослан автобиографический материал, написанный в 1964 и 1965 гг., где об “арбатстве” также нет ни слова. Но вот завершается книга текстом интервью, которое автор дал “Вопросам литературы” в 1979 г., и здесь, казалось бы совершенно неожиданно, арбатская аура выступает во всей полноте. “Мы считали, что мы — лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей родины, но и в столице Москвы” — на Арбате. “Мы друг друга называли земляками”⁷⁹. Это — чистая аберрация. Как показывают материалы той же книги, в пору жизни на Арбате ни сам Казаков, ни его приятели ничего подобного не “считали”. Достаточно сказать, что автор познакомился с Булатом Окуджавой в 1959 г., когда были уже написаны и распевались всей литературно-молодежной Москвой многие песни арбатского цикла, но автору в ту пору запомнилась только вполне вне-арбатская “Девочка плачет”.

В этой ситуации нашли отражение главные черты арбатской темы, какой она стала в своей финальной и самой громкой стадии — в 60–80-е годы. Первая из этих черт — ретроспективное формирование прославленного образа Арбата. “Господи, как я

люблю Арбат! Когда я из своей коммуналки переехал в Бескудниково, то понял, что Арбат — это как бы особый город, даже население иное”⁸⁰. И почти буквально то же: “Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант, // В Безбожном переулке хиреет мой талант. // Кругом чужие лица, безвестные места. // Хоть сауна напротив, да фауна не та”⁸¹. Художник А. Суровцев, выросший в Староколюшенном и учившийся в 69-й школе в Плотниковом переулке, устроил выставку своих работ “Мой Арбат”; едва ли не лучшая вещь там — портрет старой женщины, оглядывающей пейзаж одного из арбатских переулков; название картины — “Прощание”. Первое из приведенных признаний относится к 1979 г., стихотворение — к 1982, картина А. Суровцева — к 1990-м годам.

Вторая черта арбатской темы 60–80-х годов — воплощение не эмпирической действительности арбатской жизни, а ее ретроспективного образа. То был образ *post mortem*, сложившийся после распада арбатской цивилизации и после описанных выше послевоенных лет, уничтоживших эту цивилизацию в ее материальной реальности. Такое положение явствует прежде всего из признаний старых арбатцев, когда речь заходит не об их элегических воспоминаниях, а об условиях существования. “На фоне непросохшего белья // Руины человеческого жилья...”⁸² На выставке того же А. Суровцева рядом с исполненным лирического чувства “Прощанием” расположен реальный к нему комментарий — картина “Из детства” (1978): тесная коммунальная кухня, полуразвалившаяся дореволюционного образца газовая плита, раковина с облезшей эмалью. В 1979 г. состоялась персональная выставка художника И. Макаревича, проводшего детство на Смоленской площади и, соответственно, находившегося под впечатлением арбатских переулков. Некоторая часть картин на выставке была посвящена воспоминаниям о здешней жизни. И опять то же — кухонный стол, заваленный посудой, ломаные стулья, узнаваемый дом (на углу Большого и Малого Левшинского), из каждого окна которого торчат мало симпатичные лица, довольно точно соответствующие натуре (а не образу). Наконец, стихи известного литературоведа А. Марченко, написанные в самый разгар арбатской эйфории: “Здесь присы по жатому стеклу? // Арбатская, профессорская скука // В дверной меди, за вешалкой, в углу // И в коммунальной злости внука”⁸³.

В этих условиях арбатский миф вступает в новую фазу и обретает новый исторический смысл. В 30-е годы он реализовался

в повседневной жизни, корректируя ее по высокой романтически-утопической остаточной интеллигентской норме. Теперь он был воссоздан как окутавшееся элегической дымкой воспоминание о давно изжитом состоянии. Однако, если бы этим дело исчерпывалось, он не вышел бы за узкий круг престарелых арбатских старожилов и никогда не стал бы тем, чем он стал: “арбатским текстом” русской культуры, жившим на редкость интенсивно и ярко на протяжении 20—30 лет. Каким временем и почему оказался он востребован, этот мифологизированный образ Арбата 30-х годов, кто и как на это “востребование” откликнулся, чем завершилась его судьба?

Природа общественно-исторического мифа двойственна. С одной стороны, он выступает как сила, гармонизирующая социокультурные противоречия в данное время и в данном социуме, воссоздающая, актуализующая норму солидарности его членов, напоминающую о примате общих интересов над эгоистическими и частными. Примеры, и общеисторические, и арбатские, были приведены выше. Но, помимо этой синхронной роли, есть у мифа и другая роль — диахронная. Он помогает времени и социуму как бы возвыситься над самими собой, над своими локальными повседневными целями и интересами, обнаруживая для себя в них и как бы через них цели более возвышенные и интересы более духовные. Санкцией и воплощением их возвышенности и духовности выступает исторический прецедент, образ прошлого, созвучный интересам данного времени. В таком амальгамировании исторического эталона нет, разумеется, никакого лицемерия, никакой сознательной фальсификации: миф входит в культуру усваивающей эпохи, которая раскрывает в эпохе усваиваемой некоторые близкие себе грани и радуется людям оптимизированным образом самой себя. Столь же, разумеется, что усвоение исторического образа происходит в ответ на запросы и интересы усваивающего времени, в силу чего сам исторический материал, откликаясь на эти запросы и интересы, перестраивается в соответствии с ними и живет именно как образ, а не как объективная реконструкция исторического прошлого. Образы антикизирующего барокко, в которые Петр облакал свои коронационные торжества, победные парады и новую столицу, или общеизвестный античный маскарад Французской революции дают об этой стороне общественно-исторического мифа достаточно ясное представление.

Арбатский миф 60–80-х годов представлял собой явление того же порядка. Хрущевская оттепель возродила упования на “социализм с человеческим лицом”. Односторонний, мифологизированный, окутанный элегическими воспоминаниями об искренних комсомольских чувствах, о массовом стремлении на фронт на защиту Родины, а заодно об интеллигентной порядочности в семейных и личных отношениях, образ 30-х годов как нельзя более подходил на роль лирического комментария и исторической санкции происходившего. А арбатские тени и арбатские воспоминания, весь противоречивший этому образу опыт, пережитый за военные и послевоенные 15–20 лет, сообщали образу некоторую дополнительную условность, отступ, тональность скорее лирическую и художественную, нежели эмпирически достоверную. То был миф мифа, мифологизированный образ 30-х, востребованный мифом 60-х. Теперь человек с чистой совестью гуманиста и интеллигента мог повторить: “Я все равно умру на той, // На той далекой, на гражданской, // И комиссары в пыльных шлемах // Склонятся молча надо мной”. “И нету, и нету погибших среди старых арбатских ребят, // Лишь те, кому надо, уснули, а те, кому надо, не спят”. Ключевое слово поэзии Булата Окуджавы — надежда.

Упоминание имени Булата Окуджавы здесь далеко не случайно. Именно творчество и творческая эволюция этого архитектора второго арбатского мифа содержат наиболее полный и ясный ответ на поставленные выше вопросы о смысле, который нес в себе миф мифа, и о том, чем, когда и почему завершилась его судьба.

Окуджава вернулся в Москву в конце 50-х годов, после почти 20-летнего отсутствия (фронт, учеба в Тбилиси, работа в школе в Калужской области) и в первые же годы, между 1956 и 1959 г., создал, по его словам, “такой вот цикл московских песен”⁸⁴. Среди них сразу выделились песни, посвященные Арбату: “Ах, Арбат, мой Арбат...”, “На арбатском дворе и веселье, и смех...”, “Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю...”, “И нету, и нету погибших среди старых арбатских ребят...” и др. Чтобы понять не только прямой смысл этих строк, но также значение и их самих, и “арбатского текста” в ней, надо учитывать несколько обстоятельств.

Первое состоит в том, что “цикл московских песен” вместе с его арбатским ядром был порожден совершенно определенным

временем, которое он нес в себе. Речь идет о 60-х годах в их первой, самой “розовой” фазе — от XX съезда до падения Хрущева, до первых политических процессов и начала войны во Вьетнаме, т.е. о годах 1956—1964. К этим годам относятся три первые книги стихов Окуджавы — “Лирика” (1956), “Острова” (1959), “Веселый барабанщик” (1964), где сосредоточено большинство “арбатских” песен. Связь их со своим временем, с его людьми и его атмосферой поэт сознавал отчетливо: “Эти люди как раз первыми восприняли мои песни, и они как раз первыми и разнесли. Но это был очень бурный процесс, очень быстро все это разносилось. Я не успевал что-нибудь спеть, как уже через два дня слышал это в разных местах. Если бы я, допустим, сегодня начал бы сочинять те же песни, они бы так не пошли. Это совпало с временем, с потребностью, с какой-то пустотой, — вот такая штука... В общем это было очень интересное время”⁸⁵.

Второе обстоятельство: то, что было спето, воспринято, разнесено и совпало с временем, представляло собой сублимацию опыта, пережитого в 30-е годы, его очищение и светлый миф. Окуджава и его слушатели прекрасно понимали мифологическую природу создаваемого образа Арбата. Начать с того, что в свой двор поэт, “вернувшись в Москву, ни разу не заходил”⁸⁶. Не заходил, другими словами, с 1940 г., так что двор, “где каждый вечер все играла радиолa”, где по весне “и веселье, и смех”, двор, который поэт навсегда “уносит с собой”, отодвинут почти на 20 лет в дымку детских воспоминаний — ретроспективный образ, а не реальность⁸⁷.

В позднейшие годы последовал ряд выступлений в концертах и по телевидению, где поэт вносил весьма существенные коррективы в образ, им же созданный. Выяснилось, например, что прототип Ленки Королева был просто хулиган и мерзавец, что “на арбатском дворе” были не только “веселье и смех” и не только “играла радиолa”. При этом — классическая черта мифа — осознаваясь как вымысел, тот же Арбат продолжал сохранять привлекательность, чем дальше уходил от реальности, тем упрямее окутывался в элегические тона. Признания указанного рода годами чередовались с прежними, элегически идеализованными, пока, наконец, в 1982 г. не возникло стихотворение “Все кончается неумолимо. // Миг последний печален и прост...”, где все акценты оказались расставленными и мифологическая природа образа Арбата раскрыта с почти научной точностью:

...лиловает души отражение —
 этот оттиск ее белой,
 эти самые нежность и робость,
 эти самые горечь и свет,
 из которых мы вышли, возникли,
 Сочинились...
 И выхода нет.

Арбат раскрывается как отражение души, проекция ее содержания в историческую реальность, и при этом не всего, что есть в душе, а лишь белой, очищенный и обеленный ее оттиск. "Оттиск" чего? Прежде всего собственных чувств, наших чувств, какими они были некогда, как сказано в другом стихотворении, "когда Арбат еще существовал": горечь и нежность, робость и свет. Из тех чувств и образов, которые мы в ту арбатскую эпоху несли в себе, которыми жили, — из них мы не только вышли, возникли, но и *сочинились*. Реальность видна здесь через воспоминания и чувства, которые ее отражают, но и сочиняют и при этом "перебегают". Они — часть меня, часть моей жизни и потому мне бесконечно дороги:

Как я буду без вас в этом мире,
 протяженном на тысячи верст...

Но мира этого больше нет. Нет его вовне: "Все кончается немолимо. Миг последний печален и прост". А потому нет оснований продолжить славить и его образ, с которым мы разлучены отныне и навечно, "и спастись от вечной разлуки // унижительно мне и смешно". Написано стихотворение в 1982 г., в самый разгар арбатской эйфории, бесконечных собраний и публикаций, бесконечных оплакиваний "нашего Арбата", проклятий по адресу тех, кто его уничтожил, требований его сохранить и даже вернуть. Окуджава отдал им дань, но он не мог и не хотел "жить с головой, повернутой назад"⁸⁸. Миф есть миф — пограничье реальности и надежды, образа внешнего и внутреннего. И выхода нет.

Третье обстоятельство. Содержанием мифа была особая жизненная установка, которой Булат Окуджава оставался верен всю жизнь и с исчерпанием которой он из жизни ушел. Сформулировать ее на языке анализа и академически однозначных определений затруднительно. Вначале поэт обозначал ее словами: "Возьмемся за руки, друзья, // Чтоб не пропасть пооди-

ночке", потом — "Надежды маленький оркестрик под управлением любви", в конце:

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то тайных⁸⁹ дум их овекает дым,
и приговор нашептывает время.

У Окуджавы удивительно много местоимений множественного числа — мы, вы, в сущности он всю жизнь писал об одном — о "мы" и о "вы" как "мы", о тесном человеческом содружестве единомышленников и одиночувствующих. В этом единении были сплетены разные нити: поначалу — верность социалистической утопии ("Сентиментальный марш", 1957) и стране, ее осуществлявшей, подчас вопреки самой утопии ("Былое нельзя воротить...", 1964), потом все чаще — друзьям ("А мы швейцару..."), другая — хотя и все та же — нить: отрада солидарности с родным ночным городом и всеми, кто потерпел в нем "крушение, крушение" ("Полночный троллейбус", 1957), с традицией культуры и чести — в России ("Переводы юнкеров") и, вместе с ней, вне ее — на Западе, в Европе ("Капли датского короля", 1964), но чем дальше, тем больше — с интеллигенцией ("По прихоти судьбы...", 1982), в конце — со всеми, кто живет теми же чувствами и способен их разделить ("У поэта соперника нету...").

...Итак: поначалу — верность социалистической утопии и стране, ее осуществлявшей, подчас вопреки самой утопии; тесный круг друзей, связанных общими воспоминаниями, узнавших, "что к чему и что почем и очень точно" и тем не менее сохранивших чистоту помыслов; традиция культуры и чести — здесь и там; интеллигентность как основа содружества — все это и есть Арбат Окуджавы, Арбат в нераздельности вымысла, окрашенного реальностью, и реальности, окрашенной вымыслом. "Мы начали прогулку с арбатского двора, // К нему-то всё, как видно, и вернется"⁹⁰, "Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа..."⁹¹

Истребимо. Не вернулось и не вернется. Переживание времени и города, мира и истории на основе отрадного и, несмотря ни на что, не покидающего тебя чувства содружества. Способность видеть в другом такого же человека, как ты сам, и уважать его права, а на этой основе переживать и потенциальную соли-

дарность с ним — выявленная и выраженная Окуджавой суть “арбатского текста” русской культуры, всей демократической русской интеллигенции. Но такого рода переживание предполагает, помимо лирического наполнения и мифологизации, определенный тип исторической реальности и общественных отношений. Уничтожаемые советским режимом, истончаясь и уходя из жизни, объективная возможность интеллигентского мировосприятия, его этика и его ценности продолжали в ней жить вплоть до середины 80-х годов, когда оказались полностью исчерпанными в реальности нового типа. Предпосылки ее складывались исподволь, но окончательную санкцию она получила в преобразованиях и потрясениях конца века. Какое уж тут содружество, какой интеллигентский кодекс, какое “возьмемся за руки”... “Опасно видеть сегодня теми же детскими, наивными, восторженными глазами Москву, Арбат, нашу тогдашнюю *общую* готовность ко всему. Такая готовность — ради чего бы то ни было — накладывает на совесть каждого человека страшную ответственность. Свобода — она все-таки дороже и прекраснее любых иллюзий. С иллюзиями надо расставаться. Даже с самыми сладкими”⁹².

Расставаться надо не только с иллюзиями. История, как заметил арбатский человек Герцен, состоит из концов и начал⁹³, и с той ее формой, которая кончилась, расставаться надо тоже.

П р и м е ч а н и я

- ¹ Топонимия арбатского и примыкающих районов непоследовательна и неустойчива. На протяжении XIX в. выработалась система названий, в общем дожившая до революции. В 1921 — 1922 гг. особая комиссия Моссовета занялась переименованиями, как говорилось в постановлении о ее создании, “по археологическому принципу”. Улицам и переулкам были возвращены названия по древним урочищам или владетельным фамилиям. Именно тогда Первый Ушаковский переулок, например, стал Коробейниковым, а Второй — Хилковым, Обухов переулок — Чистым, Георгиевский — Вспольным и т.д. Но одновременно началось и продолжалось почти до конца века новое переименование (нередко тех же улиц и переулков) по именам и событиям, признанным актуальными для советского режима. Так, Пречистенка стала улицей Кропоткина, Остоженка — Метростроевской, Большой Афанасьевский — улицей Мясковского, Малая Никитская — улицей Качалова, а Поварская — улицей Воронского. При этом, однако, обе Молчановки остались Молчановками, Скатертный — Скатертым, Хлебный — Хлебным и т.д.

Наконец, в последние годы, в эпоху перестройки и реформ, улицам и переулкам Арбата стали в массовом порядке возвращать старые названия улиц, причем не всегда было понятно, что значило "старый". В этих условиях выдержать сколько-нибудь последовательную и исторически однородную систему топонимов оказалось невозможным. В настоящей статье используются названия, которые были в ходу у коренных жителей района в те годы, которым статья прежде всего посвящена. В те годы почти никто не называл Борисоглебский переулок улицей Писемского, и лишь немногие очень пожилые люди, слегка кокетничая своим консерватизмом, продолжали называть Плотников переулок Никольским. Система эта капризна, непоследовательна и в известной мере субъективна, но обеспечивает хоть какую-нибудь (в этих условиях, по-видимому, единственно возможную) историческую приуроченность изложения.

- 2 Материалы некоторых таких собраний публиковались. См., в частности: Архитектура СССР. 1986. Июль — авг.; см. примеч.
- 3 Из опубликованных в указанном номере "Архитектуры СССР" выступлений на данном совещании С.С. Аверинцева, В.Л. Глазычева, Л.И. Невлера.
- 4 На боевом посту: Орган Главного Управления внутренних дел Мосгорисполкома. 1985. 26 окт. С. 4.
- 5 Где жили Пушкины? // Вечерняя Москва.
- 6 Цит. по: Романюк С. Улица Немировича-Данченко 6 (Серия: "Биография московского дома"). М., 1983. С. 24.
- 7 Волович Н.М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979. С. 222 — 230.
- 8 Из письма известного гравера Иордана художнику А.А. Иванову. Цит. по: Земенков Б.С. Гоголь в Москве. М., 1954. С. 115.
- 9 Из письма Е.М. Феоктистова И.С. Тургеневу от 25 февраля 1852 г. Цит. (без указания даты) там же.
- 10 Зарегистрированные Б.С. Земенковым 92 московских адреса, связанных с Гоголем, распределяются следующим образом: район Немецкой слободы и Басманных улиц — 4 (4%), окраины и пригородные имения — 13 (14%), район Арбата — 21 (23%), центр города — 54 (59%).
- 11 Из архивных разысканий Т. Илясовой (опубликованы в краткой форме в журнале "Наука и жизнь", 1984. № 7. С. 122 — 127) видно не только тяготение Тютчева и лиц, ему близких, к району Малой Дмитровки и Страстной (Пушкинской) площади, но и значительная интенсивность культурной жизни в этих местах, ничего общего с Арбатом не имеющих. Родители Тютчева после 1843 г. жили на Садовой-Триумфальной, 25 (дом не сохранился). Приезжая в Москву, Тютчев останавливался у Сушковых (Староименовский, 11), летом 1863 г. с Денисьевой — в доме баронессы Корф (парадный фасад — на Тверской бульвар, вход — с Большого Гнездиковского переулка), родные Денисьевой жили неподалеку — на Малой Дмитровке, 3. У Сушкова на Староименовском (в те годы — еще Пименовском)

собиралось то, что называется “вся Москва”. В разные годы здесь бывали Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, П.А. Вяземский, Д.В. Григорович, Н.Ф. Павлов. “Это был дом, — писала в своих известных воспоминаниях “Моя жизнь дома и в Ясной Поляне” Т.А. Кузьминская, — где можно было встретить людей, на которых зовут гостей: литераторов, дипломатов, приехавших из Петербурга, музыкальных знаменитостей”. Загоскин в своих мемуарах употребил для обозначения этого круга — едва ли не первым — слово “интеллигенция”.

- 12 *Формозов А.А.* Историк Москвы И.Е. Забелин. М., 1984. С. 17—18.
- 13 Публикация в газете “Досуг в Москве”, 1985. 12 окт. С. 1.
- 14 *Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. М., 1959. С. 39.
- 15 *Домогацкий В.* Кладовка. Попытка консервации // Новый мир. 1992. № 3. С. 67.
- 16 Воспоминания компаньонки Е.Р. Воронцовой-Данковой Кэтрин Вильмот цитируются Герценом в статье “Старый мир и Россия”. — *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. XII. С. 418.
- 17 *Герцен А.И.* Былое и думы // Там же. М., 1956. Т. IX. С. 71.
- 18 Там же.
- 19 *Тургенев И.С.* Дым // *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1981. Т. VII С. 279—280.
- 20 Веревской Ю.П. 10(22) марта 1876 г. // *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч.: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1966. Т. XI. С. 230.
- 21 *Писемский А.Ф.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. VII. С. 13.
- 22 Из рассказа “Странная ночь” (1884). См.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М., 1975. Т. III. С. 139.
- 23 Слова эти являются комментарием к адресу писателя Пальмина, который Чехов сообщает Н.А. Лейкину (письмо от 24 или 25 сентября 1885 г. См.: Там же. Письма. М., 1974. Т. 1. С. 160). То, что речь здесь идет не о Доргомилове, Плющихе или других улицах, примыкающих к Смоленскому рынку, а именно о Староконошенно-арбатских местах, явствует из письма Пальмина Чехову от 19 октября 1884 г.: “А я переехал на новую квартиру у Успенья-на-Могильцах” (Там же. Соч. Т. III. С. 568).
- 24 Показателен отзыв человека, посетившего незадолго до первой мировой войны престарелую приятельницу и корреспондента Герцена М.К. Рейхель: “Первое, что поражает в ней, — это прекрасная московская речь, речь Сивцева Вражка, Плющихи, глухих переулков Арбата или Поварской, где еще доживают дворянские гнезда, но не Таганки, не Ильинки, где московский говор окрасился типичной купеческой складкой” (Цит. по: *Эйдельман Н.* Твой девятнадцатый век. М., 1960. С. 262).
- 25 Ближайший друг, Огарев, приезжал с Арбата, но то была улица, которую он терпеть не мог (см. примеч. 14) и с которой без конца отлучался, так как не ладил со своей первой женой М.Л. Рославлевой: “Они уезжали из Москвы более для того, чтобы незаметно пожить врозь” (Там же).

- 26 Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч.: В 30 т. Т. IX. С. 156.
- 27 Герцен А.И. Москва и Петербург // Там же. Т. II. С. 33–42.
- 28 Кропоткин П.А. Записки революционера. М.; Л., 1933. С. 8.
- 29 Там же.
- 30 Из стихотворения “Я знал тебя, Москва, еще неказачно скромной...” (1909).
- 31 Сведения о врачах на Арбате основаны на очерке Л. Колодного “Арбатская лечебница”. См.: Московская правда. 1983. 9 мая.
- 32 Распространенный взгляд, подкрепленный авторитетом Н.А. Бердяева и Г.П. Федотова, согласно которому интеллигенция возникла при Петре, непоследователен. Если имеется в виду слой общества, порожденный специфическими социально-экономическими условиями, в результате которых он *осознал себя* интеллигенцией, то это вполне очевидно произошло тогда, когда появилось самоназвание, т. е. во время реформ 1860-х годов и после них. Если же речь идет о *типе человека* и положении его среди общественных сил, то многие черты “интеллигента” явственно обнаруживаются в круге Максима Грека, Вассиана Патрикеева, новгородских “жидовствующих”, т. е. в начале XVI столетия в правление Ивана III.
- 33 См.: Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 295 и след.
- 34 Бунин И.А. Собр. соч. Т. X. Окаянные дни. Берлин, 1935 (репринт: М., 1990). С. 3, 8, 15, 20, 25.
- 35 Там же. С. 6, 9, 11, 42, 127.
- 36 Зайцев Б. Улица Святого Николая. Берлин, 1923. Книга имеет подзаголовок: “Рассказы 1918–1921 годов” и состоит из пяти рассказов. Действие первых трех (“Улица Святого Николая”, “Уединение”, “Белый свет”) происходит на Арбате, а двух последних (“Душа” и “Новый день”) — в деревне. Для построения автора в эти годы и для того, что будет о нем сказано на дальнейших страницах нашей статьи, особенно примечателен последний рассказ. Молодая женщина, уже включившаяся в новую, послереволюционную жизнь, готовящаяся (после, по-видимому, гибели мужа) выйти замуж второй раз — за сотрудника того же госучреждения, где она работает секретаршей, приезжает в деревню проводить свою восьмилетнюю дочь Олю. Оля живет здесь с вдовой деверя героини, рядом с нищей помещицей, бывшей графиней, все еще собирающей у себя на чай местную интеллигенцию. Их окружают люди, доживающие и дострадывающие, втоптанные и раздавленные, погруженные в безрадостную борьбу за существование. Выдержав не больше двух-трех дней, героиня уезжает обратно в Москву, где ждут ее новые дни. Сюжет этот стал расхожим в последующей советской литературе. Здесь он звучит еще свежо и убедительно, рассказан с редким и очевидным талантом.
- 37 Там же. С. 30–32.
- 38 Чичерин А.В. Сила поэтического слова. М., 1985, см. с. 231–232, 244–245, 247, 254 – ср. с. 250–253.

- 39 Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973.
- 40 Там же. С. 159.
- 41 Там же. С. 100.
- 42 Там же. С. 38.
- 43 Приведенные цитаты заимствованы соответственно из писем: Евгения Герцык Льву Шестову 30/IV 1925; Аделаиды Герцык (по мужу Жуковской), сестры мемуаристки, Льву Шестову 27/VIII 1824; Д. Жуковского, мужа Аделаиды Герцык, Льву Шестову. Осень 1925 г. См.: Там же. С. 172, 184, 190.
- 44 "На рубеже двух столетий", "Начало века", "Между двух революций". Об Арбате больше всего — в первой из этих книг. См., в частности, на с. 68 (по изданию: М., 1989. Серия литературных мемуаров): «И думал я, что склероз, поражавший всех нас так ужасно, имел объяснение в том ложном мнении, что "мы" — соль земли».
- 45 Используется издание: Осоргин М.А. Сивцев Вражек. Роман. Повести. Рассказы. М., 1990.
- 46 Там же. С. 165.
- 47 "Беззаботная легкомысленность приветливой улыбки ушла из мира. То ли осатаневший от злобы мир не допускал приветливости, то ли недоверчивая подозрительность низов, с зоологической непреклонностью веривших, что человек человеку волк, родила злобу и страх" (Домогацкий В. Указ. соч.).
- 48 Осоргин М.А. Указ. соч.
- 49 Там же. С. 185.
- 50 Острое ощущение границ Арбата, жившее в сознании поколения, передано в автобиографическом романе Андрея Белого "Котик Летаев". (см. по изд.: ПГ., 1922. С. 101; 201). Особенно четко противопоставлялись в нем интеллигентско-профессорский Арбат и пролетарское Дорогомилово: пришла весна, "и закричало на нас: Дорогомилово — грохотом; и стало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки" (С. 281).
- 51 Кажется, единственный дом на Сивцевом Вражке из существовавших в ту пору, который подходит к данному описанию, — двухэтажный угловой профессорский особняк — это дом на углу Плотникова переулка. Если такая догадка правильна, то Осоргин точно выбрал место для демонстрации своей идеи: в этом доме в советские годы жили, в частности, профессор консерватории, знаменитый в те годы пианист Н.К. Игумнов и автор нормативного словаря русского языка профессор ИФЛИ Д.Н. Ушаков. Оба были интеллигентами дореволюционной формации, оба бесконечно преданы своему делу и через него вошли в жизнь послеоктябрьского общества.
- 52 Ср. тип и судьбу проживавшего на Арбате, "в Спасо-Щегловском переулке, восемь" заглавного героя романа С.С. Заяицкого "Жизнеописание Степана Александровича Лососинова" (М.; Л., 1928) и, в частности, его заключающую роман речь, произнесенную на педагогическом совете в школе и утверждавшую необходимость "честно относиться к своему делу", а значит — со-

действовать духовному росту, воспитанию и образованию детей (С. 177 – 178).

- 53 Таблица составлена по памяти. Она суммарно точна, но на точность по каждой позиции не претендует.
- 54 Вот, например, как был заселен, ставши “коммуналкой”, особняк по Гагаринскому переулку, 15: “Владелец особняка профессор Лопатин (философ, сын Н.М. Лопатина), известный тем, что с ним когда-то спорил Ленин, уже умер. Занимал он большие и низкие антресоли. Там все еще продолжал жить его лакей Сергей со своим сыном студентом Колей. Кроме них в мансарде жили кухарка и генеральша Прокопе, бывшая знатная дама, судя по фотографии молодой красавицы в кружевах и бриллиантах” (*Егорьева Е.* Особняк на Гагаринском // Декоративное искусство СССР. 1987. № 7. С. 37).
- 55 Выражение Б.Л. Пастернака из письма к И.А. Груздеву от 9 марта 1926 г. Публикация Е.Б. и Е.В. Пастернак в кн.: Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920 – 1930-х годов. Новые материалы и исследования. М.; 1983. С. 652.
- 56 *Зарудин Н.* Старица Арбат // Наши достижения. 1934. № 11. С. 90.
- 57 Русские, украинцы, венгры, евреи, немец; должно быть, представлены и другие национальности — по фамилии их не всегда удастся отождествить.
- 58 Так, в “Правде” за 10 апреля 1987 г. были напечатаны воспоминания матроса теплохода “Комсомолец”, потопленного в 1937 г. у берегов Испании франкистами. В статье названы капитан судна Меженцев, т. е. русский, комиссар Август Кульберг, т. е. латыш, старший механик Дрен (немец?). Фамилия автора воспоминаний — Иван Гайдасенко.
- 59 Отличие в этом смысле 1935 – 1940 гг., т. е. эпохи школ-десятилеток, от предыдущих хорошо видно, например, из начальных эпизодов романа А. Рыбакова “Дети Арбата”. Описанная здесь любовная история характерна для рубежа 20 – 30-х годов. В школах-десятилетках мне, по крайней мере в семьях того облика, который описан в романе, ничего подобного видеть не приходилось.
- 60 *Самойлов Д.* Из стихотворения “Слава Богу! слава Богу...” // *Самойлов Д.* Второй перевал. Стихи. М., 1963. С. 7.
- 61 *Оттен Н.* Дань. Невымысленная повесть. М., 1980. С. 95.
- 62 Начальные строки стихотворения Б.Л. Пастернака.
- 63 Первое исключение, которое автору настоящих заметок пришлось пережить, было исключение из пионеров; причина состояла в том, что в разговоре с таким же десятилетним мальчиком, как я сам, я называл Суворова великим полководцем. Разговор, происходивший с глазу на глаз, тут же стал известен старшей вожатой — восхваление царских генералов требовало “оргвыводов”.
- 64 Из статьи Б. Парамонова, вводной к публикации работы К.-Г. Юнга “Настоящее и будущее” // Октябрь. 1993. № 5. С. 163.

- 65 См.: Юнг К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.-Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 95–128. Приводимые ниже цитаты — из этой работы.
- 66 Особенно ясно — в проходившем в московском прокате и на телевидении фильме Ивана Дыховичного “Прорва”, да и во многих других произведениях киноискусства, где речь идет о тех же годах (например, в фильме “Мой друг Иван Лапшин” Алексея Германа).
- 67 Гинзбург Л. В поисках тождества // Советская культура. 1988. 12 ноября.
- 68 Егорьева Е. Указ. соч. С. 37.
- 69 Никитина Т. Арбата старого больше нет // Л.Г. Досье. 1993. № 6: “Куда ведет Арбат”. С. 9.
- 70 «Сейчас дворы исчезают, какие могут быть дворы при домах-башнях, а с ними уходит многое важное в детской жизни: дворовая дружба-вражда, сложные иерархические отношения дворовой волюнты, особый кодекс чести, необходимое на заре туманной юности молодечество, добрые товарищеские драки, дворовый бескорыстный спорт и дворовые танцы. “Во дворе, где каждый вечер все играла радиолка”, помните? Исчезнут дворы, и навсегда не станет Ленки Королева, а без него плохо». Советская культура. 1986. 22 марта.
- Оставим “добрые драки” на совести автора. Нам важно не “вывести его на чистую воду”, а понять. Реальность этих драк (подчас кровавых и нередко омерзительных) оказалась перекрыта в памяти автора ощущением их как бы случайности — ощущением, связанным с тем, что в них, действительно, не было социальной непреложности; социальные антагонизмы в них не чувствовались, наверное и не существовали: сегодня подрались, завтра помирились.
- 71 Первая публикация: Знамя. 1988. Апр. С. 46–174.
- 72 Ильина Н. Дороги // Октябрь. 1982. № 4.
- 73 Имеется в виду название автобиографического очерка Томаса Манна “Любек как духовная форма жизни”.
- 74 См.: Белый А. Котик Летаев. С. 281.
- 75 См. примеч. 55.
- 76 Ильина Н. Дороги. Судьбы. М., 1988. С. 522.
- 77 Имеется в виду излюбленный арбатскими жителями в 30–50-е годы родильный дом имени Грауэрмана в самом начале Большой Молчановки возле бокового фасада ресторана “Прага”.
- 78 Казаков Ю. Две почты: Проза. Заметки. Наброски. М., 1986.
- 79 Там же. С. 320.
- 80 Там же. С. 321.
- 81 Окуджав Б. “Я выселен с Арбата...”: Из цикла “Арбатские песни” (1982) // Окуджав Б. Стихотворения. М., 1984. С. 258.
- 82 Окуджав Б. Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве (1980) // Окуджав Б. Посвящается вам. Стихи. М., 1988. С. 3.
- 83 Цит. по авторизованной рукописи.

- 84 Стенгазета Клуба самодеятельной песни, посвященная 60-летию Б. Окуджавы. 1984. Май – июнь. С. 6.
- 85 Там же. С. 7.
- 86 Это признание Б. Окуджавы содержится в его посмертно опубликованном интервью (Общая газета. 1997 Июль. № 28, публикация М. Поздняева). Оно ставит под сомнение атрибуцию известной фотографии (поэт сидит на “лавочке”, в шапке-ушанке, кругом заснеженный городской тесный пейзаж) как снятой “во дворе родного дома” (Булат Окуджава. Специальный выпуск (Литературной газеты), б.г. (21 июля 1997)).
- 87 Ср. в стихотворении 1982 г. “Я выселен с Арбата...”; “...И в эти, мной когда-то обжитые места // Все всматриваюсь, всматриваюсь я” (курсив мой. – Г.К.)
- 88 Название статьи Г.А. Белой в посвященном памяти Булата Окуджавы “Специальном выпуске” (см. примеч. 86).
- 89 Магнитофонный вариант. В опубликованном тексте: “горьких”.
- 90 Из стихотворения Б. Окуджавы “Романс” (“Арбатского романа знакомое шитье...”) // *Окуджава Б.* Стихотворения. М., 1984. С. 191.
- 91 Из стихотворения Б. Окуджавы “Пускай моя любовь, как мир, стара...” // *Песни Булата Окуджавы.* М., 1989. С. 187.
- 92 *Окуджава Б.* С иллюзиями надо расставаться // *Общая газета.* 1997. Июль. № 28 (Курсив мой. – Г.К.).
- 93 *Герцен А.И.* Концы и начала : Цикл статей из “Колокола”, 1862 – 1863 гг. // *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. № XVI.

Социокультурная топография Москвы: от 1970-х к 1990-м



Сегодня, когда Москва, как и страна в целом, переживает одну из самых радикальных социальных трансформаций в своей истории, особенно актуальной представляется проблема соотношения изменений и воспроизводства существовавших ранее культурных образцов. Это относится и к проблеме соотношения изменчивости и воспроизводства в социокультурной топографии города, в частности, интересна проблема воспроизводства и наследования статуса территорий в области “географии престижа” в столичном городе. В литературе уже отмечалось, что «город структурирован не только предметно-пространственными средствами и социально, но и аксиологически. За каждым районом закрепляется определенная “слава”, которая оказывается значительно стабильнее, нежели предметно-пространственная или социальная организация территории»¹.

В числе проблем социально-гуманитарной (или, если так можно выразиться, "сентиментальной") географии современной Москвы изучение "географии престижа" является особо актуальным. В прежней советской географии (и экономике тоже!) места для такой категории, как "престиж", строго говоря, не было (так же, как в нашей советской жизни "не было" секса). Между тем из всех невещественных характеристик нашей современной жизни именно престиж является, пожалуй, самой важной характеристикой даже для тех людей и целых социальных групп, которые, казалось бы, целиком поглощены материально-вещественными проблемами ("новые русские" и т.д.).

Все вышеизложенное позволяет, как представляется, принять такой угол рассмотрения темы, который автор предлагает называть аксиогеографическим. Под аксиогеографией (или аксиологической географией) подразумевается картографирование и изучение закономерностей распределения в пространстве оценочных суждений респондентов социологических опросов о различных свойствах тех территорий (или объектов, на них расположенных), которые подлежат оцениванию в ходе этих опросов. Возможность выделения такой вспомогательной дисциплины, находящейся на стыке географии, экономики, социологии, культурологии и психологии, базируется на высказанных учеными еще в 1970-х годах выводах о том, что "вся территория видится людьми как своеобразное поляризованное культурное поле с фокусами притяжения и отталкивания"², что "дальнейшее изучение системы показателей социальных оценок территории позволит перейти к составлению специальных оценочных карт"³.

Можно вспомнить в этой связи слова Ю.М. Лотмана о том, что "иерархия культурной значимости различных пространств дополняется иерархией степеней их ценности (зависящей от внутренней структуры данного типа культуры); так выделяются пространства, предназначенные для государственно-политической деятельности, частной жизни и проч. Эстетические переживания также отнюдь не равномерно распределяются внутри культурного пространства"⁴.

Через эту призму автор настоящей статьи и предполагает рассматривать преимущественно материал, связанный с социокультурной топографией Москвы последних десятилетий. При этом в качестве объекта исследования выступает та весьма важная сторона городской структуры, которая может быть названа

“массово-субъективной”, своего рода “современная городская мифология”, мысленные карты, существующие в головах людей, с фокусами притяжения и отталкивания. Речь идет о системе оценок и сравнительных предпочтений определенных качеств различных частей городской территории, которая складывается и действует в массовом сознании различных групп населения. О системе оценок здесь правомерно говорить, поскольку при всем разбросе склонностей отдельных лиц как раз изучение массовых оценок должно дать сравнительно устойчивые и взаимоскоррелированные показатели. Очевидно, что действие таких оценок не ограничивается только сознанием: они играют существенную роль в ориентации соответствующих форм массового поведения в городе, на территориях и в городских учреждениях, имеющих разную “социальную репутацию”⁵.

Что касается источников соответствующих сведений, то главную роль среди них будут играть данные, полученные автором в ходе социологических опросов, которые проводятся им с 1978 г. и по настоящее время. В ходе этих опросов респондентам (в основном, и в особенности после 1985 г., это были представители учащейся молодежи) задавались, в частности, вопросы, предлагавшие назвать самые любимые и самые нелюбимые респондентами жилые районы Москвы, исторические районы города, самые неблагополучные (а также сравнительно благополучные) в экологическом отношении жилые районы, самые криминогенные (а также сравнительно благополучные в этом отношении) районы, районы самых высоких и самых низких цен на товары повседневного спроса (до 1994 г. задавались вопросы о районах наибольшего товарного дефицита), районы, в которых предпочитают жить самые богатые люди, и районы, в которых вынуждены жить самые бедные люди. Кроме того, респондентам предлагалось назвать самые любимые и самые нелюбимые московские улицы, площади, парки, а также отдельные здания, учреждения культуры, торговли и обслуживания и т.д. В настоящей статье данные, полученные в ходе этих опросов, будут использованы главным образом в самой общей, качественной форме.

“География престижа” в Москве проявляется в двух аспектах: концентрическом и секторальном. В концентрическом аспекте речь идет о высоком статусе центра города как, с одной стороны, места локализации и концентрации тех или иных форм престижной деятельности, а также престижных форм проведе-

ния досуга, так и, с другой стороны, места престижного проживания. В этом аспекте о функциях центра в научной литературе отмечалось, что “центр города идентифицируется с его наиважнейшей частью, со средоточием городской жизни, районом самого сильного притяжения”⁶. Пространственная организация социокультурной жизни города неизменно связывает функции его жизнедеятельности непосредственно с центральными районами. К числу таких функций прежде всего следует отнести процессы хранения и передачи информации, познавательные процессы, процессы социальной реализации престижа, отбора и принятия решений и, наконец, процессы социальной идентификации и интеграции⁷.

Кроме того, уже применительно к московской практике заселения Центра высокостатусным “контингентом”, в литературе отмечалось, что состоявшееся в начале 1970-х годов «официальное признание исторической ценности пространства Центра, реализованное через градостроительные ограничения, лишь узаконило уже сложившуюся к тому времени практику жилищной сегрегации и не задело интересы социально господствующих групп, для которых жилье продолжало возводиться в центре по индивидуальным, а не массовым проектам. Напротив, их власть над пространством столичного Центра, благодаря официальному признанию его историчности, получила гарантии того, что является властью над временем. Если верить Бурдые, а не верить ему нет оснований, социальная власть над временем молчаливо признается высшей формой превосходства: «Владеть “старинным”, т. е. владеть сегодня вещами, которые пришли из прошлого и аккумулируют в себе историю, кристаллизованную в дворянских титулах, замках или “исторических жилищах”, картинах и коллекциях, старинных вещах и антикварной мебели, это значит господствовать над временем, над тем, что труднее всего удержать посредством всех этих вещей, которые объединяет то, что они достаются только со временем, только через время, только вопреки времени»⁸. Обладать столичным Центром, этой уникальной антикварной городской средой, признанной исторической, означало показывать свое социальное превосходство в тем более ценимой форме, что в советскую эпоху не работали такие универсальные символы господства, как происхождение от благородных предков и родовое богатство⁹.

Существуют и иные особенности концентрического аспекта территориальной дифференциации в современной Москве, освещавшиеся автором настоящей статьи в публикациях, посвященных специфике того феномена, который автор в свое время предложил называть социально-психологическим центром (СПЦ) Москвы¹⁰. Здесь эти проблемы освещаться не будут, чтобы не уводить читателя слишком далеко от темы, заявленной в заглавии статьи.

В секторальном аспекте "география престижа" в Москве проявляется в том, что, как с известной долей осторожности, диктовавшейся временем, отмечалось в литературе еще в 1970-е годы, исторически сложились такие особенности структурной и функциональной организации Москвы, как "характерная асимметрия в функциональном освоении территории города (смещение мест приложения труда к востоку, а культурно-рекреационных и репрезентативных функций к западу от исторического ядра), наличие тесных композиционно-планировочных связей периферийных районов с главным центром системы на северо-западе, западе, юго-западе и относительная неразвитость таких связей на севере, юго-востоке, юге и др."¹¹.

О том же самом автор настоящей статьи написал уже гораздо более определенно в 1996 г.: «По мере разрастания Москвы зоной "престижного расселения" стала почти вся западная часть ее территории, своего рода московский "вест-энд": обширный сектор, простирающийся от Речного вокзала на севере до Ясенева на юге»¹². В этой части Москвы есть своя более тонкая дифференциация, связанная с исторически сложившейся специализацией территорий и особенностями социального состава населения. Представляется совершенно естественным, что самой престижной частью западного сектора Москвы стала западная часть исторического центра, территория между Тверской (улицей Горького) и Москвой-рекой, которая и до революции считалась в Москве наиболее престижной. Уже в начале XIX в. это была самая "дворянская" часть Москвы. В свое время Г.С. Кнабе уже отмечал, что действие "московских" глав "Войны и мира" Л.Н. Толстого почти не выходит за пределы Приарбатя. Что касается района Большой и Малой Никитских улиц (улиц Герцена и Качалова), то их тоже еще в XIX в. называли "московскими Сен-Жерменами"¹³. Так, на Большой Никитской в разное время жили Колычевы, Голицыны, Нарышкины, Шереметевы,

Меншиковы, Разумовские, Орловы и т.д. Позже, на рубеже XIX—XX вв., здесь густо селилась университетская профессура, преподававшая в нынешних старых корпусах МГУ. А за Бульварным кольцом, в районе Малой Бронной улицы находился самый студенческий район Москвы, так называемая “Козиха”. Вообще же для расселения в западной части исторического центра Москвы в XVIII—XIX вв. было характерно следующее: если на севере (ближе к Тверской) селилась более “чиновно-карьерная” часть дворянства, то на юге (в Приарбатье) тон задавали “обломки игрою счастья обиженных родов”, тот слой, из которого вышло немало представителей дворянской интеллигенции. В статье Г.С. Кнабе “Арбатская цивилизация и арбатский миф”, помещенной в настоящем сборнике, подробно и детально изложен процесс эволюции, в ходе которого “дворянское” Приарбатье начала XIX в. превратилось в Приарбатье 1920-х годов, когда слово “Арбат” приобрело особую магию, по крайней мере для интеллигентных москвичей. Именно с этого времени Арбат и приобрел в полной мере репутацию самого интеллигентного района Москвы, а появление на свет в роддоме имени Г.Л. Граузэрмана стало как бы “знаком качества” истинного московского интеллигента.

После революции, как писал Г.С. Кнабе, в составе населения этой части Москвы произошли существенные и разнонаправленные изменения. Во-первых, уже в 20-е годы интеллигентское население Приарбатья начало разбавляться подселавшимися в процессе уплотнения представителями “класса-гегемона”, а точнее, социальных низов. Во-вторых, в этой части Москвы, как бы сохраняя преемственность ее социального статуса, все активнее селилась партийно-государственная номенклатура, и этот элемент в населении юго-западной части исторического центра непрерывно возрастал по своему весу и культурному влиянию на протяжении всех советских десятилетий. Параллельно с этим шла и бюрократизация самой советской интеллигенции (процесс, о котором говорили и говорят не очень охотно). Надо отметить, что удельный вес номенклатуры в населении Приарбатья в ее новой, посткоммунистической мутации продолжает возрастать и поныне.

Не исключено, что в последние десятилетия свою роль в этом наплыве представителей новой правящей элиты в Приарбатье играло знакомство сначала хотя бы ее младшего поколения

с песнями Булата Окуджавы и желание представителей этого слоя привычным для себя способом приобщиться к “арбатству, растворенному в крови”. Ведь к этому времени само слово “Арбат” стало символом самой мифологизированной части Москвы. Перед этим “мифологическим” искушением уже в сравнительно недавние времена не устояли, по-видимому, даже Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе, Н.И. Рыжков, Б.К. Пуго и т. д.

В качестве печального парадокса следует отметить, что сохранение высокого социального статуса за этой территорией в советское время (в сочетании с репутацией “тихого центра”) нанесло чрезвычайно большой ущерб ее исторической городской среде. Ни в одном из секторов исторического центра Москвы площадь заповедных зон не сократилась так катастрофически, в особенности в последнее время, уступив место значительным кускам застройки, мало отличающейся от аналогичной застройки где-нибудь в районе станции метро “Кунцевская” или на юго-западе Москвы. В историческую среду вплоть до самого последнего времени “вставлялись” как отдельные здания, так и, можно сказать, целые кварталы, предназначенные для представителей новых “хозяев жизни”. Надо с сожалением отметить, что этот процесс продолжается до сих пор.

Особо следует отметить превращенный в годы “перестройки” в пешеходную улицу Арбат, который москвичи сразу окрестили “офонаревшим”. С рубежа 80—90-х годов (и до сих пор порой!) на улице, название которой много десятилетий служило символом московской интеллигентности, рослые, тренированные молодые люди и соответствующие девицы стали предлагать москвичам и “гостям столицы”, наряду с произведениями искусства, антиквариатом и сувенирами, полный ассортимент отечественного мата.

По социальному составу население Приарбатья еще на рубеже 80—90-х годов было довольно пестрым. Оно состояло, пожалуй, из трех основных слоев: во-первых, коренных москвичей (среди которых было все еще немало интеллигенции), продолжавших жить в приходивших в упадок коммуналках бывших доходных домов; во-вторых, так называемых “лимитчиков”, заселявших те же самые коммуналки по мере отселения и вымирания коренных москвичей, и, наконец, проживавших в новых благоустроенных домах представителей “правлящей элиты”.

Судя по количеству мемориальных досок (насколько, разумеется, можно доверять такому элементарному признаку), численность и удельный вес творческой элиты в Приарбатье в последние десятилетия были меньше, чем в северо-западном секторе исторического центра (между Тверской и Новым Арбатом). К названным социальным группам можно добавить еще обитателей многочисленных в этой части Москвы посольств. В целом этот сектор центра все еще можно по социальному составу населения охарактеризовать как интеллигентный, хотя его главной сегодняшней утратой можно считать массовый отъезд на окраины Москвы в отдельные квартиры (а то и много дальше!) подавляющего большинства представителей старого культурного ядра населения этой части города, носителей ее исторической памяти, а также исчезновение самого специфического “арбатского образа жизни”. Этот процесс начался еще в хрущевский период и продолжается по сей день, приведя к практически полному изменению социальной физиономии этого сектора исторического центра Москвы, где центральной фигурой, задававшей тон уже в 1970-е годы, стал вместо интеллигента “образованный функционер”. Эта ситуация ярко отразилась в словах Булата Окуджавы: “...ходят оккупанты в мой Зоомагазин”. В настоящее время представители элитарных слоев, проживающие в Приарбатье, либо сами постепенно коммерциализируются, частично образуя новую “денежную элиту”, а частично трансформируясь в новую посткоммунистическую номенклатуру, либо вытесняются “новыми русскими”.

Сходным образом шло развитие и северо-западного сектора исторического центра Москвы (между Новым Арбатом и Тверской). В советское время, как бы сохраняя преемственность социального статуса, он стал одним из главных мест расселения новой “правлящей элиты”. Вот несколько примеров: “Дом вождей” в Шереметьевском переулке (улица Грановского), в котором жили М.Ф. Фрунзе, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, Н.А. Вознесенский, А.Н. Косыгин и т.д.; особняк в конце Малой Никитской (улица Качалова), в котором жил Л.П. Берия (сейчас там посольство Туниса); облицованный розовым кирпичом дом-“трилистник” в Леонтьевском переулке (улица Станиславского), в котором жил министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС Д.Ф. Устинов; также облицованный розовым кирпичом дом-башня на Большой Бронной,

в котором жили “главный идеолог” хрущевской и брежневской эпох, член Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов и предпоследний Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко; построенный напротив Центрального дома архитектора еще один облицованный розовым кирпичом дом-“трилистник” в Гранатном переулке (улица Щусева), где в заметной даже с улицы, увеличенной по высоте и занимающей целый этаж квартире должен был жить Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и в которой сейчас живет бывший Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатов. Как и в Приарбатье, сохранение высокого социального престижа за этой территорией в советское время также нанесло большой ущерб ее исторической среде. В этом отношении гораздо больше повезло менее престижным восточному сектору исторического центра Москвы и Замоскворечью. (Кстати, не случайно, видимо, восточный сектор, на территории которого еще до революции находилась печально известная “Хитровка”, так никогда и не смог сравняться по престижности с западным сектором!). В каком-то смысле зримым символом эволюции элитарных слоев населения северо-западной части исторического центра Москвы в последние годы может служить превращение бывшей гостиницы ЦК КПСС, расположенной в Спиридоньевском переулке, в отель “Пресня”, принадлежащий фирме “Марко Поло”.

В известном смысле продолжением западной части исторического центра Москвы являются Хамовники (район Комсомольского проспекта и Фрунзенской набережной). По социальном составу населения этот жилой район считается одним из самых “элитарных” в Москве. Наряду с Кутузовским проспектом эта часть Москвы — одно из главных мест проживания как прежней, так и новой “правлящей элиты”, представители которой, наряду с представителями “интеллектуальной элиты”, задают тон в районе. Сейчас эти элитарные слои также постепенно переплетаются, все более коммерциализируются, превращаясь в денежно-коммерческую элиту, получившую название “новых русских”.

Говоря об особенностях социокультурной топографии новых, освоенных полностью уже в советское время, частей западного сектора территории Москвы, следует прежде всего указать на наличие трех основных направлений, или “осей”, престижного расселения в московском “Вест-энде”, престижность которых

в сравнительно недавнее время убывала строго “по часовой стрелке”. (При этом, независимо от того, идет ли речь о центре или о периферии, надо иметь в виду, что преобладание тех или иных социокультурных групп, задающих тон на различных территориях Москвы, нигде не являлось и не является абсолютным, так как население практически всех жилых районов Москвы являлось и является достаточно пестрым, и в любой ее части можно было найти раньше и сегодня можно найти представителей практически любой социокультурной группы.)

На первом месте был безусловно “учебно-научный” юго-запад. Главной транспортной осью этого направления является Ленинский проспект. Юго-запад считается “оплотом интеллектуальной элиты” или тех, кто стремится быть к ней причисленным¹⁴. Не зря именно здесь сосредоточено множество импозантных и престижных объектов университетско-академического комплекса. Зримым символом этой части Москвы первоначально явился ансамбль МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах, а сейчас, пожалуй, им становится “Кристалл”, или “зеркальный небоскреб” Академии народного хозяйства академика А.Г. Аганбегяна, символизирующий коммерциализацию значительной части московской академической элиты. (Будем надеяться, что хотя бы “дворец Газпрома” в Новых Черемушках новым символом этой части Москвы все-таки не станет!). Но зато уже стало одним из символов юго-запада “Царское село” в Новых Черемушках — комплекс возникших в начале 1980-х годов суперэлитных зданий, облицованных розовым кирпичом. В одних подъездах этого комплекса (с квартирами получше) расселяли сотрудников аппарата ЦК КПСС, Совмина, генералитет (как армейский, так и академический) и т. д., в других (с квартирами похуже) — менее высокопоставленных сотрудников академических институтов. Упоминая в разговоре обитателей этих зданий (среди которых сегодня появилось много иностранцев и “новых русских”), жители соседних “пятиэтажек” без особой симпатии употребляют слово “они”. И не случайно, что Черемушкинский рынок считается вторым по дороговизне в Москве после Центрального. Жители этой части Москвы утверждают, что одной из причин этого было давнее наблюдение рыночных торговцев: “Интеллигенция не торгуется”.

В отличие от юго-западного направления западное направление престижного расселения (Кутузовский проспект — Фили —

Кунцево — Крылатское), получившее в московском городском фольклоре прозвище “филейная часть Москвы”, всегда было оплотом прежде всего “правлящей элиты”. В 1970 — начале 1980-х годов в одном из домов на Кутузовском проспекте, например, жили два последовательно занимавших пост Генерального секретаря ЦК КПСС: Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов. Вообще это направление давно приобрело репутацию номенклатурного (“цековско-кэгэбэшного”). В ходе своего пространственного развития оно закрепило свою репутацию сначала в 1970-х годах, с появлением в районе станции метро “Кунцевская” комплекса кирпичных домов-башен, облицованных розовым кирпичом, который был построен главным образом для сотрудников аппарата ЦК КПСС и также получил в московском городском фольклоре название “Царское село”.

Дальнейшее закрепление уже посткоммунистической номенклатурной репутации западного направления произошло совсем недавно, в 1990-е годы, когда на окраине Крылатского (одного из самых благополучных в экологическом отношении жилых районов Москвы) было возведено новое “Царское село”, где поселились и президент России Б.Н. Ельцин, и премьер-министр России В.С. Черномырдин, и целый ряд государственных чиновников самого высокого ранга. Кстати, еще в начале 1990-х в Крылатском были самые высокие цены на квартиры по сравнению со всеми другими жилыми районами Москвы¹⁵. Следует отметить, что в последние годы, в связи со снижением социального статуса представителей фундаментальной, академической науки, западное направление становится, пожалуй, даже более престижным, чем юго-западное.

И, наконец, северо-западное направление престижного расселения (уже наименее престижное из трех), транспортной осью которого являются Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе и в состав которого входит, в частности, территория бывшего Хорошевского (а еще ранее Ворошиловского) административного района, приобрело в Москве репутацию оплота представителей в первую очередь военно-промышленного (и, более узко, ядерно-космического) комплекса и связанной с ним “закрытой” науки. Зримым символом ее является, в первую очередь, Курчатовский институт. Характерна уже сама топонимика бывшего Хорошевского (Ворошиловского) административного района, в котором фамилии военачальников чередуются с фамили-

ями ученых, создававших “ракетно-ядерный щит державы”. Все это содержит в себе нечто неуютное для мирного обывателя. (Кстати, монументы, поставленные в этой части Москвы, также не совсем пригодны для того, чтобы назначать возле них любовные свидания.) К этому стоит добавить возникавшие в Москве время от времени тревожные слухи, связанные с деятельностью расположенных на территории Курчатковского института атомных реакторов. Достаточно сказать, что жители этой части Москвы вот уже более 30 лет рассказывают всем историю (или легенду?) о японцах, у которых при подъезде к станции метро “Сокол” начали щелкать счетчики Гейгера.

Впрочем, не все северо-западное направление имеет военный колорит. Так, в одной из самых престижных частей этой территории, в районе станции метро “Аэропорт”, находится комплекс писательских домов, получивший в московском городском фольклоре название “Дворянское гнездо”.

Можно расценить как некую мистику, или как реализацию социокультурного “генетического кода” города, такие сцепления фактов, в соответствии с которыми, во-первых, наиболее интеллигентное в прошлом Приарбатье, расположенное в юго-западном секторе исторического центра, получило пространственное развитие на современном юго-западе Москвы, оплоте “интеллектуальной элиты”; во-вторых, “московские Сен-Жермены”, расположенные севернее Приарбатьи (в районе Большой и Малой Никитских улиц), получили пространственное развитие на западном, “филейном” направлении, на котором разместились, если так можно выразиться, “советские Сен-Жермены”, роль которых играли и играют в социально-статусном аспекте вчерашняя и нынешняя номенклатура, а также присоединившиеся к ним “новые русские” (тем, кому это сравнение покажется чересчур натянутым, можно напомнить слова А.С. Пушкина: “У нас нова рожденьем знатность, И чем новее, тем знатней”¹⁶); наконец, в “военно-промышленном” и “ядерно-космическом” северо-западном направлении получила пространственное развитие северо-западная часть исторического центра, в которой еще в допетровское время находилась “бронная” слобода.

В самом общем виде распределение на территории Москвы “высокостатусных” и “низкостатусных” жилых районов показано на карте, опубликованной в уже цитировавшейся выше книге О.Е. Трущенко (см. рис. 1)¹⁷. Думается, что с 1989 г., к ко-

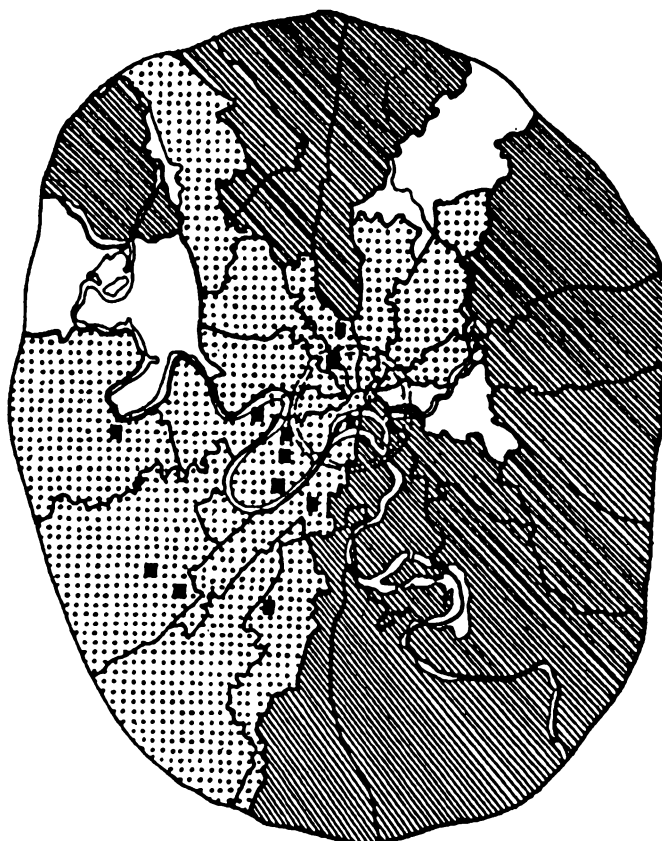





Рис. 1. Схема расположения районов с превышенными средними показателями доли руководящих работников и доли рабочих в 1989 г. (в пределах МКАД).

-  районы с превышенной средней долей руководящих работников
-  местонахождение крупных массивов жилья номенклатуры
-  районы с превышенной средней долей рабочих

торому относятся сведения, легшие в основу этой карты, больших изменений в географических аспектах социальной стратификации Москвы не произошло. Представляет интерес тот факт, что геометрия “высокостатусных” и “низкостатусных” территорий на этой карте почти в точности воспроизвелась при картографировании автором настоящей статьи распределения ответов на вопросы о самых любимых и самых нелюбимых жилых районах Москвы. И это, видимо, закономерно: где городская среда более привлекательная — там и начальства побольше (у него же максимальные возможности выбора!). И наоборот: где начальства побольше — там и среда обитания получше (не дай Бог, начальство разгневается!).

Дальше по часовой стрелке от “высокостатусной” оси Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе резко, почти без перехода начинается одна из самых непрестижных частей территории Москвы — север. Это наиболее обездоленная с точки зрения обеспеченности элементами городской инфраструктуры часть города. Как отмечается в литературе, “северный сектор, пожалуй, наименее привлекательная часть новой Москвы. На протяжении трех десятков лет ему уделялось минимум внимания. Жилая застройка 60–70-х годов, представленная домами не самых лучших серий, чередуется с мелкими и крупными промзонами. Здесь почти нет магазинов общегородского значения, очень мало высших учебных заведений. До середины 70-х годов, когда метро пришло уже во все другие сектора новой Москвы, во всем северном секторе работало только две станции, у самой его западной границы. Да и сейчас, после открытия двух новых радиусов, плотность линий метро здесь почти в два раза меньше, чем на юго-западе”¹⁸. К этому можно еще добавить, что в эту часть Москвы было переселено много представителей социальных низов, в частности, после реконструкции печально известной своей криминогенностью Марьиной Рощи. Криминогенная “слава” северной части Москвы, обнаруживаемая в ходе социологических опросов, совпадает с рассказами знающих людей о том, что еще в 1970-х годах бывший Тимирязевский административный район, расположенный в этой части города, занимал чуть ли не первое место в Москве по хулиганству¹⁹.

В чем-то сходную социальную репутацию имеет и зажатый между Лосиным островом и Измайловским парком северо-восток Москвы (Измайлово и Гольяново). При всех своих экологи-

ческих плюсах в социокультурном отношении эта часть Москвы также считается достаточно “простонародной”. В известном смысле символами преобладающего здесь “слободского” типа культуры являются две танцплощадки в Измайловском парке с неизменными баянами, частушками и песнями “зыкинского” репертуара, уже достаточно экзотичными для сегодняшней Москвы.

Впрочем, в более близкой к историческому центру Москвы части — на северо-востоке (на территории бывшего Бауманского административного района и Лефортова) локализуется несколько иная субкультура, близкая к северо-западному (“хорошевскому”) варианту и связанная с техническими вузами, Военной академией бронетанковых войск и главным военным клиническим госпиталем имени академика Н.И. Бурденко в Лефортово, а также с предприятиями ВПК. Для этой субкультуры характерна довольно значительная “милитаризованность сознания” не только у проживающих или работающих здесь представителей старших возрастных групп, но и у учащейся молодежи. Автор убедился в этом последней весной, проводя опрос в одном из здешних вузов. Никогда и нигде автор не встречал, например, такой высокой оценки недавно воздвигнутых в Москве памятника маршалу Г.К. Жукову у Исторического музея, памятника Петру I (300-летию Российского флота), а также Мемориала на Поклонной горе, встречающих весьма прохладное отношение почти всех профессиональных и возрастных групп.

Далее “по часовой стрелке”, к югу от Измайловского парка, начинается еще одна весьма неблагоприятная и в экологическом, и в социокультурном отношении часть территории Москвы — промышленные восток и юго-восток. Для этой части Москвы характерны, во-первых, неуклонное ухудшение экологической ситуации по мере продвижения на юг, от Измайловского парка к Капотне, с “неугасимым” факелом ее нефтеперерабатывающего завода, и Люблинским полям фильтрации, и, во-вторых, хроническое социокультурное отставание этой части Москвы (которую вполне можно назвать московским “Ист-эндом”) от ее западной и центральной частей, устойчивый “слободской” образ жизни здешнего населения, тесно связанного множеством нитей с сельской округой и характеризующейся низкой мобильностью и высокой криминогенностью.

Если состояние воздушного бассейна этой части Москвы вполне можно было (по крайней мере до резкого спада промыш-

ленного производства как в России в целом, так и в Москве в частности) обозначить цветом “наваринского дыма с пламенем”, как это сделал А.В. Рогачев²⁰, то и уровень доходов ее населения, и его криминогенная репутация, ярко проявившиеся в ходе проводившихся автором настоящей статьи социологических опросов, могут быть вполне охарактеризованы понятием “городское дно”²¹. Не случайно в непосредственном соседстве с этой частью Москвы (в первую очередь с жилыми массивами Выхино и Жулебино) находятся подмосковные Люберцы, выходцы из которых, “любера”, в 1980-х годах терроризовали не только своих соседей по Подмосковию, но и значительную часть москвичей. И не случайно, видимо, в ходе проводившихся опросов респонденты год за годом называют самым криминогенным жилым районом Москвы именно Выхино. Для полноты социокультурной характеристики этой части города следует отметить, что именно здесь, в Терлецком лесопарке, в последние годы проходят сборища “баркашовцев”.

Не сильно отличается от востока и юго-востока Москвы по социокультурным характеристикам населения и ее юг (Бирюлево и Бутово). Эта часть города также считается весьма криминогенной (в первую очередь это относится к Бирюлеву).

Довольно четкая граница отделяет на юге московские “Вест-энд” и “Ист-энд”. Она проходит по Битцевскому лесопарку, который представляет собой своего рода “пограничный лес”, отделяя высокостатусное Ясенево от низкостатусного Чертанова (бывший образцово-показательный жилой район (ОПЖР) Северное Чертаново представляет исключение по отношению к остальному “большому” Чертанову). В этой связи, думается, представляют особый интерес полученные автором в ходе социологических опросов оценки респондентами самого Битцевского лесопарка. Они сильно отличаются у представителей разных социокультурных групп: у более “элитных” респондентов они в основном отрицательные (для них за Битцевским лесопарком — мир низкостатусной публики), а у более “простонародной” части респондентов они в основном положительные (для них Битцевский лесопарк — ворота в мир высокостатусной публики, или, говоря языком городского фольклора, “белых людей”).

Поскольку изложение материала подвело автора к весьма актуальной, болезненной и в то же время мало разработанной в нашей стране проблематике “субкультуры бедности”, он считает

необходимым, несколько отойдя от чисто качественного изложения результатов своих социологических исследований, изложить ту их часть, которая относится к этой проблематике, более детально и с привлечением количественных данных.

Проводя в 1989 г. и в 1993—1996 гг. циклы опросов, посвященных, в частности, оценке горожанами различных свойств разных частей Москвы (общее число респондентов — 293), автор естественным образом вышел на проблему локализации на территории Москвы “богатых” и “бедных” районов. Дифференциация городских территорий по среднему уровню доходов проживающего на них населения является неотъемлемым атрибутом любого “нормального” города. Однако степень осознанности этого явления общественным мнением в России и, в частности, в Москве имеет свою специфику.

Как отмечается в литературе, «слово “правда” в российском обиходе не воспринимается как антоним слову “ложь”. В мифологическом сознании народа правда — это некая смысловая структура, которой следует придерживаться. Поэтому печатный листок петровского времени, названный “Правда воли монаршей”, воспринимался вполне адекватно, как, впрочем, через много лет и газета “Правда”, которую по аналогии можно было бы назвать “Правда воли большевиков”.

В обществе возникает и устойчиво передается своеобразный страх перед реальностью, ибо сознанию нужна постоянная сказка, приятная жвачка, к которой с детства и до старости привыкли все»²².

Догмат о “социальной однородности” советского общества не только делал в течение долгого времени запретными всякие исследования как “властвующей элиты”, так и социального “дна”, но и мешал людям осознать, что это “дно” фактически существует. Может быть, поэтому с познанием “дна” мы преуспели пока даже меньше, чем с познанием “элиты”. Кроме того, существовала определенная социальная политика распределения жилья с тенденцией к перемешиванию разных социальных групп и слоев (например, рабочих с интеллигенцией). Нельзя сбрасывать со счетов и то, что достаточно единообразная типовая жилая застройка также отчасти скрывала (а для некоторых поверхностных наблюдателей и сейчас скрывает!) разницу в “социальной начинке” разных жилых районов Москвы. И наконец, построив, по словам доктора философских наук Э.А. Орловой,

“общество низшего класса”, в определенном смысле на этом “дне” мы долгое время жили почти все. Да и сейчас в условиях затяжного экономического спада респондентами в ходе опросов высказываются суждения, что 90% москвичей — бедняки. (Порой при этом добавляется, что оставшиеся 10% — жулики.)

Во всяком случае, когда начиная с 1995 г. автор стал задавать респондентам вопрос “В каких из известных Вам московских жилых районов вынуждены жить самые бедные люди?”, многие респонденты либо давали туманно-расплывчатые ответы, не позволявшие нанести на карту конкретные жилые районы, либо вообще уклонялись от ответов. Между тем районы, в которых предпочитают селиться самые богатые люди, респонденты еще в 1994 г. называли довольно уверенно и определенно.

Все это побудило автора при составлении рейтинговой таблицы и карты “районов бедноты”, наряду с ответами на прямой вопрос, использовать и ответы на три косвенных. Это, во-первых, вопрос “В каких из известных Вам жилых районов Москвы установились, по Вашему мнению, относительно низкие цены?” Корреляция между относительно низкими ценами и низкой платежеспособностью населения представляется весьма определенной. Впрочем, спрашивать об относительно низких ценах стало возможно лишь недавно, так как шок от их резкого взлета в начале 1990-х годов мешал респондентам осознать, что уровень цен все-таки не везде одинаков, и подобный вопрос мог вызывать лишь раздраженно-агрессивную реакцию.

Кроме того, были использованы ответы на задававшиеся в 1989 и в 1993 гг. вопросы о жилых районах, в которых в наибольшей степени ощущался недостаток товаров повседневного спроса. И, видимо, не случайно, районы, считавшиеся самыми “дефицитными”, сегодня считаются относительно дешевыми. Ведь особая “дефицитность” жилого района раньше тоже была одной из форм проявления его общей обездоленности и, в итоге, бедности.

И, наконец, были использованы ответы на вопрос о самых экологически неблагоприятных жилых районах, так как респонденты склонны были связывать бедность с соседством промзон и, соответственно, плохим состоянием жилых районов, в которых вынуждены жить самые бедные люди. Возможно, в итоговой сводной таблице и на представленной карте, сделанной на основе этой таблицы, этот экологический атрибут бедности, пра-

вильно отражая существующую во всем мире общую тенденцию, даже несколько опережает сегодняшнее реальное положение дел в Москве.

Таким образом, карта (см. рис. 2) представляет собой результат суммирования ответов на четыре разных, но взаимодополняющих вопроса. 12 жилых районов, набравших наибольшее число упоминаний на все четыре вопроса и отмеченных на карте двумя самыми темными тонами, перечислены “по убывающей” в следующем списке: 1. Капотня; 2. Орехово-Борисово; 3. Текстильщики; 4. Братеево; 5. Перово; 6. Чертаново (южное); 7. Бирюлево; 8. Бескудниково; 9. Выхино; 10. Люблино; 11. Бутово; 12. Новогиреево.

Строго говоря, было бы резонно просуммировать ответы на упомянутые выше четыре вопроса и ответы на вопрос о самых криминогенных районах Москвы, который автор задает респондентам начиная с 1989 г. Однако пока автор решил воздержаться от этого. И не только в связи с большой трудоемкостью как обработки еще одного массива данных, так и самого суммирования. Дело в том, что в процессе ответов респондентов просматривалась представляющая интерес сама по себе, если так можно выразиться, “мы-концепция” бедности, несколько идеализирующая поведение соответствующих социальных слоев. Они видятся респондентам скорее пассивно страдающими от условий и последствий своей бедности (например, от плохой экологии), но не агрессивно реагирующими на нее (например, пьющими, хулиганящими и т.д.). Эти последние черты поведения гораздо лучше вписываются в психологически дистанцирующую “они-концепцию” бедности, к принятию которой, однако, большинство респондентов, видимо, не расположено (и имеет для этого объективные основания!)

Думается, что в дальнейшем, совмещая данные и выводы обеих взаимодополняющих концепций бедности, автору удастся дать более объективную и многогранную картину такого печального, но неизбежного явления, как районы бедности. При этом он предполагает опираться не только на совершенствование научно-методических приемов получения соответствующей информации, но и на неизбежную объективную имущественно-пространственную дифференциацию населения Москвы по мере роста пространственной мобильности населения в условиях рынка и, главное, на постепенное изживание мифологии “социальной

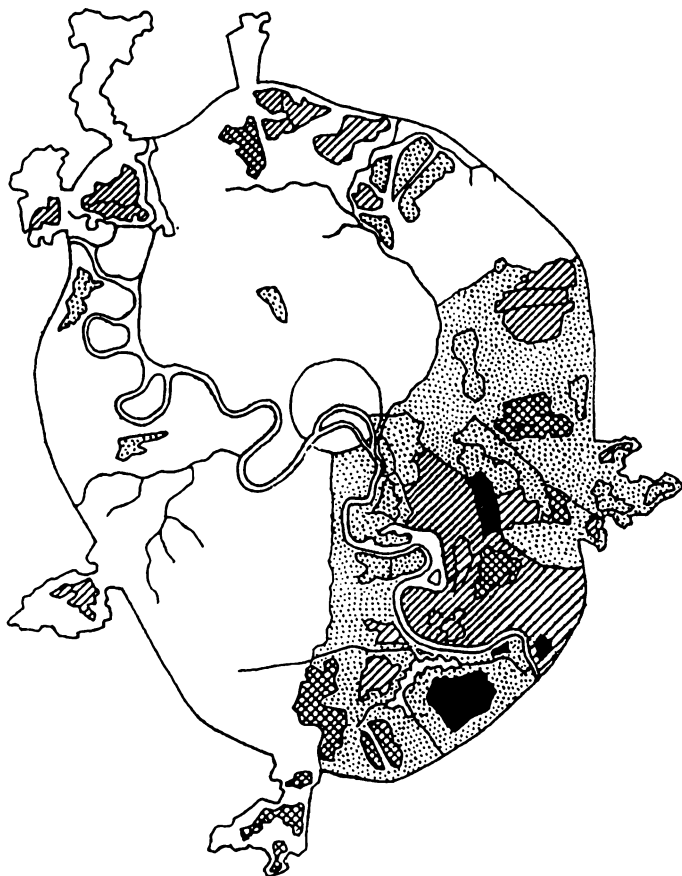
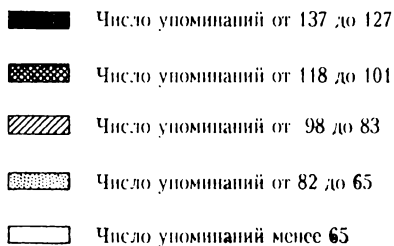


Рис. 2. Дифференциация городских территорий по среднему уровню доходов (по результатам опросов)



однородности” и проникновение как в массовое сознание, так и в сознание городских властей понимание того, что проблема социального “дна” существует реально, и только ясно видящее и честно признающее ее общество способно активной (и “прицельной” в территориальном аспекте!) социальной политикой если не всегда преодолевать, то хотя бы смягчать самые отрицательные ее проявления.

Переходя от изложения эмпирического материала к его теоретическому осмыслению, автор полагает целесообразным использовать в качестве методологического “ключа” в таком анализе концепцию А.С. Ахиезера о взаимодействии двух типов суперцивилизаций: традиционной и либеральной, которую ее автор неоднократно излагал в своих публикациях. В соответствии с этой концепцией “специфика традиционализма не в отсутствии инноваций, а в господстве ценности статичности, что выражается в жесткости фильтра новшеств, узости шага новизны подавлении всего, что выходит за допустимые рамки. Освоение культуры возможно лишь через культивирование личностью своей творческой способности. Даже воспроизводство закрытости нуждается в определенном уровне творчества, то есть способности быть открытым, но в жестко ограниченных масштабах. Вся культура нацелена на эту ограниченность. Например, память традиционного сознания неисторична, с трудом удерживает отдельные индивидуальные события истории. Вместо исторических лиц в таком сознании господствуют архетипы. Все, что выходит за рамки допускаемого традиционной культурой, рассматривается как бы несуществующим²³, что открывает путь террору против инноваций, их носителей”²⁴. При этом “традиционализм в чистом виде уже не существует. Возможно, что его еще можно найти в отдаленных племенах Африки, Латинской Америки. Современный традиционализм в возрастающих масштабах пронизывает утилитаризм”²⁵, который “в определенном ограниченном смысле представляет собой переходной идеал между традиционализмом и либерализмом, между закрытостью и открытостью. Его роль в современном мире двойственна, противоречива”²⁶.

В то же время “в современном мире существует группа стран, принадлежащих к либеральной суперцивилизации. В них либеральные ценности, ценности открытого общества занимают ведущее место, оттеснив ценности традиционного общества, постоянно пытаясь превратить монолог традиционализма в один из

голосов диалога. Сюда относятся прежде всего страны, которые раньше у нас соотносились с развитым капитализмом. В них, однако, существуют анклавы традиционализма, часть глубокого разрушенного, например негритянские гетто в США²⁷. Следует отметить, что для России вообще и для крупных городов России в особенности характерны анклавы и целые обширные территории именно такого глубокого разрушенного традиционализма.

В соответствии с концепцией А.С. Ахиезера «возникновение открытого общества — свидетельство как единства человечества, так и его внутреннего разнообразия. В результате возникновения открытого общества в мире сложились два типа суперцивилизаций: традиционная и либеральная. Для отношений между ними характерно противоречивое единство, взаимопроникновение и взаимоотталкивание, достигающие высокой степени напряженности. Эти отношения имеют место не только между странами и народами, но прежде всего внутри каждой из стран. Более того, пласты традиционализма и либерализма можно наблюдать в личностной культуре каждого человека. Отношение между этими типами суперцивилизаций является главным внутрочеловеческим различием в современном мире. Его можно рассматривать как дуальную оппозицию различий закрытого и открытого обществ. Сегодняшний мир, если рассматривать его в целом, есть переходной между суперцивилизациями, между закрытым и открытым обществом. Это мир, в котором нарастание сложности, опасностей заставляет людей искать новые формы комфортности, пути формирования этих форм. Эта проблема решается в каждой стране, каждым народом на основе своей культуры»²⁸.

Далее, характеризуя специфику России, А.С. Ахиезер отмечает, что «отношение России с двумя суперцивилизациями можно описать, как состояние страны, «застывшей» между ними, как вышедшей за рамки традиционной суперцивилизации, но не вошедшей в число стран, где утвердилось открытое общество»²⁹. Что дает эта теоретическая концепция для осмысления социокультурно-пространственных различий в таком мегаполисе, как Москва, взятая как некий универсум, изоморфный России (а в чем-то даже миру!) в целом? Прежде всего, изучая этот крупнейший столичный город, мы обнаруживаем уровень «противоречивого единства, взаимопроникновения и взаимоотталкивания» традиционной и либеральной суперцивилизаций, промежуточный между уровнем страны (России) и уровнем личностной

культуры отдельного человека. На этом уровне поле взаимодействия выглядит особенно хорошо обозримым и наглядно, непосредственно воспринимаемым практически каждым внимательным наблюдателем даже на уровне обыденного сознания. Ведь любой москвич буквально кожей чувствует, “где в Москве — что” и “где в Москве — кто”. И в публикациях А.С. Ахиезера также отмечается, что “напряжение между ценностями этих двух суперцивилизаций, пронизывающих Россию, может проявляться неодинаково в различных регионах, что придает социокультурному расколу между двумя суперцивилизациями в России территориальный аспект”³⁰.

Опираясь на все вышензложенное, можно констатировать, что западный сектор (в первую очередь юго-запад) является основной территорией в Москве (да и во всей России!), на которой уже утвердились и доминируют ценности либеральной суперцивилизации. Это проявляется и в наибольшем распространении “постиндустриального”, информационного производства, и в более высоком уровне образования населения, и в особо многонациональном составе населения этой части Москвы, и в стиле жизни местных жителей, отличающихся особой мобильностью, и в их поведении на выборах начиная с весны 1989 г.³¹, и в наиболее активном и сравнительно безболезненном их втягивании в рыночные отношения.

В противоположность “либеральному” западному сектору, “Вест-энду”, восток, московский “Ист-энд”, издавна был и до сих пор является оплотом сил, приверженных ценностям традиционной суперцивилизации. Здесь до сих пор доминирует по существу мало изменившееся за последние десятилетия и наиболее экологически вредное материальное производство (ЗИЛ, нефтеперерабатывающий завод в Капотне, “Клейтук” и т. д.), которое, кстати, как показывают проводившиеся автором социологические опросы, весьма непопулярно среди москвичей³². Здешнее население, как уже отмечалось выше, имеет более низкий уровень образования и множеством нитей связано с сельской округой, что предопределяет специфический “слободской” стиль жизни, характеризующийся низкой мобильностью. Приверженность жителей этой части города ценностям традиционной цивилизации проявилась и в их поведении на выборах (гораздо более активное, чем в западном секторе Москвы, голосование за “антилиберальные” силы начиная с весны 1989 г.³³), и в особо

тяжелом болезненном и мучительном их втягивании в рыночные отношения.

Это разделение на высокостатусный запад и низкостатусный восток распространяется и на Подмоскovie. Если не ошибаюсь, В.Л. Глазычев где-то написал или сказал, что Арбат продолжается до Звенигорода. Точно так же можно сказать, что и Люберцы, начинаясь где-то у Курского и Павелецкого вокзалов, продолжают до Электростали. Тут тоже сами собой напрашиваются развивающие “лондонскую тему” аналогии с Верхней Темзой (Оксфорд, Виндзор, Хэмптон-корт и т. д.) и традиционно известной по литературе Нижней Темзой (доки, причалы, склады, заводские цеха и т. д.).

Специфика двух частей Москвы проявляется и в большом, и в малом. Не случайно, что такой атрибут безусловно либеральной суперцивилизации, как нудистский пляж, находится в западном секторе Москвы (в Серебряном Бору), а массовое пение частушек и танцы под баян происходят на “традиционном” востоке (в Измайловском парке). Также закономерно, что совсем рядом с этими танцплощадками (в Терлецком лесопарке) собираются “баркашовцы”. Просто каждый суперцивилизационный тип имеет свои, если так можно выразиться, наиболее “мягкие” (симпатичные, трогательные) и наиболее “жесткие” (антипатичные, мрачные) зримые символы. К первому роду символов традиционной суперцивилизации на востоке относятся танцплощадки в Измайловском парке. Что касается сборищ “баркашовцев” в Терлецком лесопарке, то они, по мнению автора, являются, пожалуй, самым мрачным символом этой же самой традиционной суперцивилизации в ее новейшей мутации, представляющей собой агрессивный ответ на “либеральный вызов”. Интересно, чем бы закончилась попытка нудистов расположиться на Терлецких прудах?

Следует отметить, что и в “респектабельном” Серебряном Бору в последнее время стали не такими уж редкими кровавые “разборки” между молодежными группировками и вообще факты насилия. Может быть, “неклассические” формы складывания в нашей стране материально преуспевающих слоев приводят к тому, что и поведение их представителей также сильно отличается от “классических” (западных) образцов? Может быть, порой даже большая, чем у представителей “социальных низов”, склонность представителей наших новых материально преуспе-

вающих слоев к прямой социальной агрессии (в том числе и на бытовом уровне) представляют собой пример того, как элементы открытого общества могут быть использованы в качестве средства укрепления закрытости, как, впрочем, и наоборот³⁴? Впрочем, тут может играть свою роль и близкое соседство высокостатусного Серебряного Бора с низкостатусной территорией бывшего Тушинского административного района, считающейся, согласно данным проводившихся автором социологических опросов, весьма криминогенной и вообще представляющей собой достаточно инородное вкрапление в западном секторе Москвы.

При анализе политических настроений в современной России обычно принято противопоставлять “либеральные” Москву и Петербург “традиционной” российской “глубинке”. Можно при этом отметить, что восточная часть Москвы является как бы “внутренней провинцией”, хотя и входящей официально в состав столичного мегаполиса, но во многом еще живущей в ином суперцивилизационном и стадийно-временном пласте, синхронном среднероссийскому.

Эта специфика двух частей Москвы, с одной стороны, создает определенные сложности в общегородской культурной интеграции (особенно интеграции на базе наивысших, столичных образцов!), но, с другой — она же создает предпосылки для внутригородского культурного диалога, способствуя преодолению культурного раскола, нахождению общего языка между носителями “либеральных” и “традиционных” ценностей, выработке форм мирного взаимодействия и путей достижения гражданского согласия во всем российском обществе.

В заключение следует особо отметить, что ведущую роль в этом интегративном процессе должен сыграть городской центр, по самой своей природе предназначенный выполнять функции всеобщего “интегратора” и служить местом выработки и принятия важнейших для социума решений³⁵.

П р и м е ч а н и я

- ¹ Воронков В.М., Здравомыслова Е.А. К вопросу о целостности городской среды // Социально-психологические основы средообразования. Таллин, 1985. С. 152.
- ² Ахиезер А.С., Ильин П.М. Задачи разработки социальных оценок территории в условиях научно-технической революции // Известия АН СССР. Серия географическая. 1975. № 1. С. 87.

- 3 Там же. С. 91.
- 4 Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство // Декоративное искусство СССР. 1974. № 4 (197). С. 49.
- 5 Большинство формулировок данного абзаца позаимствовано из отзыва доктора философских наук Ю.А. Левады на работы автора настоящей статьи, написанного в 1980 г. Термин "социальная репутация", по свидетельству историка и писателя Н.Я. Эйдедьмана, введен в научный оборот известным пушкинистом В.Э. Вацуро (*Эйдедьман Н.* После 14 декабря // Пути в неизвестное. М., 1978. Сб. 14).
- 6 Wallis L.A. A. Socjologiczne problemy wielkomieskiego centrum. // Miasto. № 3. S. 14.
- 7 Ibid.
- 8 Bourdieu P. La distinction. P., 1979. P. 78.
- 9 Трущенко О.Е. Престиж Центра: Городская социальная сегрегация в Москве. М., 1995. С. 74–75.
- 10 См.: Вешинский Ю.Г. О методике составления оценочных карт территории города (на примере Москвы) // Прикладные социально-географические исследования: Тезисы докладов республиканского семинара-совещания. Тарту, 1984. С. 212–214; Он же. Социально-экологические аспекты восприятия и оценки пространственной среды крупнейшего города (на примере Москвы) // Проблемы биосферы: Информационные материалы. М., 1985. Вып. 6. С. 104–118; Он же. Москва в Москве (К вопросу о влиянии урбанизированности территории на конфигурацию социально-психологического центра города) // Прогнозное социальное проектирование и город. М., 1994–1995. Кн. 1. С. 103–121.
- 11 Гутнов А.Е. Структурно-функциональная организация и развитие градостроительных систем: Автореф. дис. д-ра архитектуры. М., 1979. С. 26.
- 12 Вешинский Ю.Г. "Вест-энд" и "Ист-энд" на территории Москвы и проблемы внутригородского культурного диалога // Культурный диалог города во времени и пространстве исторического развития. М., 1996. С. 88.
- 13 См., например: Писемский А.Ф. Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 7. С. 13 (Ссылка подсказана автору Г.С. Кнабе. В конце 1980-х годов в самиздате ходила рукопись его доклада "Арбатская цивилизация и арбатский миф". Её автор обязан также знакомством со многими сторонами истории Приарбатья).
- 14 По данным переписи населения, проведенной в 1989 г., удельный вес людей с высшим образованием в населении этой части Москвы достигал 39,7%, в то время как на севере и в юго-восточной части Москвы есть жилые районы, где эта доля в населении не превышала 15,2%. См.: Березкин А. Москва, которой мы не знаем // Megapolis international, 1991. № 4. P. 6. В связи с проблемой секторальных аспектов расселения в Москве представителей социальных "верхов" и "низов" см. также кар-

- ту в кн.: *Трущенко О.Е.* Указ. соч. с. 51. Любопытно, что, согласно данным, приведенным в вышеупомянутой статье А.В. Березкина, существует корреляция между удельным весом людей с высшим образованием в населении различных районов Москвы и удельным весом женщин в нем. В чем тут дело: в том, что женщины с высшим образованием в Москве больше, чем мужчины, или в том, что прекрасная половина московского населения в своем расселении тяготеет к месторождениям образованных и, как предполагается, интеллигентных мужчин? (Ю.В.).
- 15 См., например: *Новомлинская Е.* Москвичи могут сами оценить свои квартиры // *Коммерсант — daily*, 1993. № 105, 5 июня. С. 12. (То, что в предисловии к своей статье Е. Новомлинская приписала неким “специалистам фирмы БАНСО” авторство исследования, подлинным автором которого является автор настоящей статьи, не снижает интереса к помещенной в ее статье карте. — Ю.В.).
 - 16 *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1974. Т. 2. С. 259.
 - 17 *Трущенко О.Е.* Указ. соч. С. 51.
 - 18 *Рогачев А.В.* Москва: Город — человек — природа: Экспериментальное учебное пособие для учащихся старших классов. М., 1994. С. 354 — 355.
 - 19 На севере Москвы, так же, как и на юго-востоке, удельный вес людей с высшим образованием, по данным переписи 1989 г., падал до 15,2% (см. карту упоминавшейся публикации: *Березкин А.* Москва, которой мы не знаем Р. 6).
 - 20 См.: *Рогачев А.В.* Указ. соч. С. 369.
 - 21 См. в этой связи: *Вешинский Ю.Г.* Юго-восток — городское дно. Так считают сами горожане // *Сегодня*. 1996. № 193. 19 окт. С. 8; *Он же.* Москвичи о привлекательности районов столицы: В 2 кн. М., 1995; *Он же.* Сравнительная оценка различных территорий Москвы. М., 1995. Следует также отметить, что и в этой части Москвы удельный вес людей с высшим образованием, по данным переписи 1989 г., падал до 15,2% (см. карту в уже упоминавшейся публикации: *Березкин А.* Москва, которой мы не знаем. Р. 6).
 - 22 *Гольц Г.А.* Гипертрофированный страх перед реальностью в российском обществе: Запись круглого стола “Специфика России как научная проблема” (Окончание), организованного в рамках независимого теоретического семинара “Социокультурная методология анализа российского общества” // *Рубежи*. 1997. № 3. С. 131 — 132.
 - 23 *Элиаде М.* Космос и история. М., 1987. С. 62 — 63.
 - 24 *Ахиезер А.С.* Как “открыть” закрытое общество. М., 1997. С. 20.
 - 25 Там же. С. 30.
 - 26 Там же. С. 31.
 - 27 Там же. С. 23.
 - 28 Там же.
 - 29 Там же. С. 31.

- 30 Ахуезер А.С. Культура и пространственная динамика России. Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. Под общ. ред. Т.Н. Заславской. М., 1996. С. 289.
- 31 См. в этой связи: Веспа-1989: География и анатомия парламентских выборов. Под ред. В.А. Колосова, Н.В. Петрова, Л.В. Смирнягина. М., 1990. С. 235; Березкин А. "Вандея" и "Кронштадт" на политической карте Москвы. Megapolis international. 1992. № 1. Р. 20 и др.
- 32 См., например: Вешинский Ю.Г. Изучение восприятия и сравнительной оценки представителями разных социальных групп привлекательности различных аспектов городской среды Москвы (Отчет о НИР, на правах рукописи). М., 1990. С. 53, 58; Он же. ЗИЛ – лидер антипатий: Экология столицы в зеркале общественного мнения / Сегодня. 1996. № 109. 22 июня. С. 8.
- 33 См.: "Вандея" и "Кронштадт"...
- 34 См.: Ахуезер А.С. Как "открыть" закрытое общество. С. 32.
- 35 Wallis L.A. Op. cit.

Москва и "московский текст" русской культуры: Сб.
М 82 ст./Отв. ред. Г.С. Кнабе. М.: Российск. гос. гуманит.
ун-т, 1998. 228 с.

ISBN 5-7281-0052-X

Книга посвящена исследованию специфического образа Москвы, соотношенных с ним особенностей форм жизни, произведений искусства, влияния, которое этот образ оказал на культуру страны. Понятие "городской текст", введенное в научный обиход академиком В.Н. Топоровым, оказалось крайне продуктивным для такого исследования. Авторы ставят своей целью положить начало исследованию "московского текста" именно в этом смысле слова. В книге обосновывается само понятие "московский текст", освещается эпоха с 1830-х годов и до настоящего времени.

Для историков, литературоведов, культурологов и широкого круга читателей.

Москва и “московский текст” русской культуры

Редактор *Н.Л. Петрова*

Художник *В.В. Зверев*

Корректоры *И.П. Гаврикова, Т.М. Козлова*

Технический редактор *Г.П. Каренина*

Компьютерная верстка *Н.Н. Аксенова*

Лицензия ЛР № 020219 от 25.09.96.

Подписано в печать 15.06.98.

Формат 84х108¹ 32

Усл. печ. л. 12,0.

Уч.-изд. л. 13,7.

Тираж 1000 экз.

Заказ №75.

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267, Москва, Миусская пл., 6
(095)973-4200

www.top-kniga.ru цена **44.00 р**

Москва и "московский текст" 01 08 01

г" русской культуры Сб ст 142420

ТкСам

Сл



9 208093 000018

